

# ВСЕ ТАК УМИРАЮТ?

*Издание второе, дополненное*



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
МОСКВА  
2013

УДК 821.161.1-312.6  
ББК 84-4  
К 19

**Кантонистова Н. С., Гринберг П. В.**

Все так умирают? — 2-е изд., доп. — М.: Языки славянской культуры, 2013. — 256 с.

ISBN 978-5-9551-0665-6

Эта книга — воспоминания о моей дочери, это памятник моей родной Женечке, погибшей от лейкемии в 27 лет. Эта книга — о ее детстве, юности, о двух лютых годах болезни. Это попытка сохранить Женечку в земной жизни, не потревожив ее посмертие. Эти воспоминания адресованы тем, кто потерял единственного любимого человека, это крик и плач, это попытка войти в круг добра и понимания.

**ББК 84-4**

*При оформлении книги использованы рисунки Жени Кантонистовой  
и фотографии из архива автора*

ISBN 978-5-9551-0665-6

© Н. С. Кантонистова, П. В. Гринберг, 2013

© Языки славянской культуры, 2013

## Содержание

<i>Анна Курт. Памяти Женечки Кантонистовой</i> .....	5
От авторов .....	10
<i>Наталья Кантонистова. «Все так умирают?»</i> .....	15
<i>Павел Гринберг. Стихи разных лет</i> .....	202
<i>Екатерина Марголис. «Наше дело — дело умирая»</i> ...	241
Приложение .....	247

Они будут ждать. Кажется, многие.

Почему меня? Кто я такая? Почему я в этом уверена? Почему я хочу этого? Для чего это мне нужно? — не знаю. Но знаю, что хочу быть лучше, любить сильнее. Сейчас, кажется, это главное. Главное — путь к местами едва начертанным, местами ярко обведенным идеалам. Надеюсь, что приближительно понимаю свое назначение.

Быть лучше — это относится ко всему. Любить сильнее — это Его и Мое.

Быть лучше: стараться понимать окружающее в более близких мне проявлениях его сути и любить за это близкое. (И вот уже опять тебе ничего не хочется. Тогда надо заставлять себя.)

А надо ли?

Женечка, 10.02.1988

## Памяти Женечки Кантонистовой

Это не беллетристика, не литература. Это документ прекрасной человеческой судьбы. Или, быть может, крик. Крик боли, вопль. Сплошная, на протяжении более чем двухсот страниц взрывная волна боли, любви, отчаяния. Это книга о самых трагических и серьезных проблемах, которые рано или поздно возникают в жизни каждого.

Почему она ошеломила столь многих? Людей бывалых, выдавших виды, глядевших в глаза смерти не раз и в упор — смерти не обычной, венчающей долгую, насыщенную жизнь, смерти детской, которую невозможно принять и оправдать. Ничем, никакими доводами и убеждениями. Даже верой. И реакция на эту книгу у всех одна — оторопь, шок. Цветаева бы сказала: ожог. Ожог боли. И вместе с тем вся книга — сплошной знак вопроса. Недаром он вынесен в заглавие. В чем же этот вопрос?

Живет в Москве девочка. С фотографии на нас глядит красивое лицо — не столько обаятельное и кокетливое, сколько одухотворенное. Почему-то особенно хороша Женя с короткой стрижкой, с полуоткрытым ртом и открытой точеной шеей (август 1998 года). Во всем облике сквозит гармония и чистота. Пролистываю одну страницу и смотрю, как с обрыва в пропасть — пропасть боли и муки. Самая значительная фотография, та же, что и на обложке, — после выхода из комы. Лицо-маска из греческой трагедии с отрешенной, нездешней улыбкой. Аллегория страдания.

Девочке дано очень многое, все то, что в привычном понимании составляет счастье: мать, любившая ее невероятной, даже чрезмерной любовью, обожавшая ее всегда — с первого до последнего вздоха, ода-рившая неизменной заботой, вниманием, уважением.

О родительской любви стоит сказать особо. Все мы любим и даже очень любим своих детей. Отдаем им свое время, тревожимся, переживаем за них. Терпим их причуды, несправедливости, грубости, повальный эгоизм. И прощаем. Неустанно прощаем им все. Тут нет особой доблести, хотя подчас это нелегко. Но очень редко встретишь такой силы родительскую любовь, какая проступает сквозь жгучие строки этой книги. Я, по правде сказать, и не встречала. Любовь, гра-

ничающая с благоговением, которое мы способны испытывать лишь в отдельные минуты (чаще всего в юности) по отношению к очень значительным людям. Но и девочка эта особая — достойная восхищения и обожания.

А между тем как часто в семье люди словно специально созданы для того, чтобы мучить и терзать друг друга: дети — родителей, родители — детей, муж — жену и наоборот, а чаще всего — взаимно.

Но перед нами совсем другой вид отношений: девушка в двадцать пять лет помогает родителям. А мать просит у дочери прощения, мать, которая сделала для нее больше, чем могла, больше, чем во власти человека. На форзаце, во вступительном слове сказано: «Это — памятник моей родной Женечке, погибшей от лейкемии в 27 лет». Действительно, памятник — не только ушедшему ребенку, но и материнской любви.

Способности даны девочке тоже выше средних. Прекрасное образование, социологический факультет МГУ, блистательный профессор-руководитель, диплом, аспирантура, головокружительная карьера. В двадцать пять лет Женя получает приглашение на работу в Совет Европы. Какой стремительный разбег! И столь же внезапная остановка. Недомогание и страшный диагноз — острая лейкемия, рак крови. Говорят, удар судьбы. Удар наотмашь, сбивающий с ног, опрокидывающий наземь. А вслед за ним — два года таких страданий, о которых невозможно читать без слез.

Девочка незаурядна во многом. Ей свойственны безоглядная щедрость и умение отдавать. Очень рано проявляется ее пугающая зрелость. «В юности Женечка полюбила Гамсуна, Набокова, Бродского, Довлатова, Сашу Соколова, Гессе, Томаса Манна, Фолкнера, Зингера, Кортасара, Борхеса».

Но самое, пожалуй, прекрасное в Женечке — редкое терпение и мужество во время болезни. Откуда они у совсем еще молодой девушки — барышни, как сказали бы в прошлом, теперь уже позапрошлом веке?

Мне кажется, что такие девочки встречаются ныне только в России, где только и возможна духовная и интеллектуальная жизнь такой интенсивности. Только здесь еще существует такая глубинная, подлинная причастность поэзии, литературе, живописи, такая громадная жажда знания и созидания.

А еще Женя наделена несомненным даром слова, ей дана лапидарность и художественность характеристик и определений: «Диагноз — гарантия обретения смысла, он заключается в ценности каждого мгно-

вения» (из тезисов для конференции, посвященной времени). Может быть, это и есть один из основных уроков книги: «Неужели для того, чтобы полюбить город, надо из него уехать, чтобы начать дорожить жизнью, надо ее почти потерять, чтобы зауважать работу — получить на несколько месяцев отпуск, чтобы оценить природу — годами жить в городе...»

Ценность каждого мгновения жизни перед лицом смерти еще сильнее обнаруживает непрочность и эфемерность всякого земного благополучия. И какими мелкими кажутся в этом свете наши смехотворные амбиции, репутации, борьба самолюбий, тщеславие — вся эта шелуха и пустота нашей жизни.

Женечка уезжает на работу в Страсбург. Кто из нас не мечтал бы о таком? Однако «какое нечеловеческое одиночество поджидало тут Женечку, всегда грезившую свободой и одиночеством и всегда изнемогавшую под их тяжестью... Одиночество велико и многогранно, оно может вырастить тебя, а может и погубить, все в нем: растворение, приобщение к миру и себе, к своей глубине, отчуждение и разрыв с миром». А через несколько месяцев на нее обрушится страшная болезнь.

Последние два года ее жизни иначе как подвигом не назовешь — подвигом преодоления. Об этом невозможно писать в обычной повествовательной манере. Нарастание симптомов подобно уступам ада, медицинские процедуры — словно круги очищения: повторная химиотерапия, многочисленные пункции.

Испытание болезнью, помноженное на одиночество, выковало личность необычайной духовной силы: «в противостоянии болезни, в смертельном риске человек духовно растет и дорастает до самого себя».

В книге звучит немало упреков в адрес врачей, в особенности западных. Врачей, которые не пожалели и не пожелали дать матери надежду на то, что у дочери есть шанс на жизнь. Гастроэнтеролог спокойно бросает совсем еще юной девушке: «Вы все равно умрете». Особенно сильно это ранило там, в Европе, хотя проблема эта столь же остро стоит и здесь, в России.

Для лечащего врача-гематолога больная — лишь статистическая единица. «А как хотелось верить ему, благословлять его, пренебрегать его амбициозностью, враждебностью, уклончивостью...» Но, пожалуй, самый горький и справедливый упрек в адрес врачей состоит в том, что они не сделали всего возможного, не захотели выписать доноров костного мозга, хотя они были, и трансплантация могла спасти жизнь девушки. И в довершении всего они избегали общения с родителями.

Вся книга пронизана, напоена нежностью, иногда обескураживающей, настолько все это лично, для себя и для дочери, не для читательских глаз. Мать мечется, не знает, как унять боль, о чем молиться, она готова просить о смерти, чтобы заглушить боль и быть рядом с дочерью. Об этом невозможно читать и невозможно говорить. Последние два года она буквально пронесла дочь на руках, дважды готова была уйти вместе с ней. Какие нечеловеческие драмы разворачиваются рядом с нами, а как мы живем на их фоне?

Мне хотелось бы поцеловать эти исстрадавшиеся материнские руки и повторить то, что иногда западает в память прочнее и сильнее всего на свете, что написал однажды в сугубо личном письме к жене Мандельштам: «Любимого никто отнять не может». Мне хотелось бы хоть как-то, пусть неумело и выспренно, выразить всеобщее сострадание к обоим героиням. Всех, кому я рассказываю об этой книге и кто рассказал мне о ней. И еще мне хотелось бы написать Реквием. Реквием по всем страдающим и умирающим детям.

Первый, обычный и, в общем-то, здравый вопрос нерелигиозных людей: «Почему страдают и умирают дети? Бог не может допустить страдания невинных и безгрешных».

Наш опыт, вторя самым глубоким богословам, неустанно свидетельствует о том, что между миром и Богом лежит пропасть, что Бог вторгается в этот мир лишь Духом Святым, лишь потоками благодати и проявляется в творчестве и добре. Что тайна зла и страдания лежит в свободе, которую Бог даровал миру, и что доподлинно, реально и явственно существует метафизическое зло, которое мы так часто склонны недооценивать.

В земном плане, на поверхности вещей кажется, что перед этим злом мы бессильны. Мы боеем и умираем так же, как повелось с отпадения. Но между нами и смертью стоит распятый Бог, даже если мы об этом не знаем. Тот, Кто однажды и до конца времен заслонил нас от смерти, взял ее на себя и непреложно обещал воскресение. И только это дает нам силу и мужество выдержать все, что выпадает на нашу долю.

Когда мать переживает *такое*, ей невозможно жить дальше. А жить надо — из последних сил, скрепя сердце, уповая на грядущую встречу, которая затмит, как солнце, все временные, земные разлуки.



## Памяти Жени Кантонистовой

Снова тень выкликаю оттуда,  
Где последний повергнется враг,  
И мелькает надежда на чудо  
Или просто спасения знак.

Собиравшая в детстве камни,  
Что тебе испытать довелось?  
Даже словом коснуться не смею  
Истонченного нимба волос.

Эти веки разошлись от соли,  
И откуда-то сбоку ползла  
Лава ужаса, страха и боли  
Из вулкана безликого зла.

И на узеньком этом запястье  
Посреди лиловеющих вен  
Рвутся узы людского участия,  
Ничего не оставив взамен.

Входит Вечность в больничные двери,  
И Распяты темнеет в окне,  
Упраздняя все споры о вере  
И в церковной ограде, и вне.

Снова время больное измерьте  
И ловите устами детей  
Ослепительный образ бессмертья,  
Восстающий из гула Страстей.

Анна Курт

## От авторов

Женечка Кантонистова родилась 1 июня 1972 года в Москве. В 1989 году закончила школу № 64 (1284) с углубленным изучением английского языка. В том же году поступила на социологический факультет МГУ.

В 1994 году Женечка поступила в очную аспирантуру социологического факультета на своей родной кафедре «История и теория социологии».

Женечку, несомненно, привлекало аналитическое направление в науке. Обладая прекрасной эрудицией и памятью, умением мыслить последовательно и корректно, она из сопоставления различных мнений и подходов извлекала много нового и неожиданного, умела донести свою мысль до читателя во всей полноте и убедительности.

С марта 1994 по февраль 1997 года Женечка работала в Агентстве международного развития США специалистом проекта неправительственных организаций, куда была отобрана по результатам собеседования. Быстрый служебный рост в Агентстве, высокая оценка коллег, благодарственный сертификат, полученный из рук посла США в России — все это свидетельства высокой квалификации Женечки. В октябре-ноябре 1996 года Женечкой была предпринята поездка в США, целью которой явился сбор литературы, недоступной в России, но необходимой для продолжения работы над диссертацией в соответствии с теми высокими стандартами, которые Женечка считала для себя обязательными.

Нежная и хрупкая, прелестная, безоглядно смелая, Женечка всегда брала на себя весь груз ответственности и в личных, и в профессиональных делах, с неизменным мужеством всегда сама принимала важные решения. Со всеми и во всем была абсолютно, нестигаемо честна.

Женечка была гармоничным и поразительно искренним человеком. Все настоящее всегда привлекало ее. Женечка прекрасно разбиралась в искусстве. Как потрясающее личное событие, радующее или ранящее, переживала встречу с красотой — в живописи, музыке, книгах, кино, живой жизни. Умела быть заразительно веселой, удивляя и очаровывая всех своим громким и чудным смехом, и всегда — не-

отразимо обаятельной. Ее естественность, равно как и чувствительность к жизненным происшествиям, ошеломляла. И скрыть этот дар обаяния и искусство удивлять Женечка была не в силах даже при самом поверхностном общении, как не была способна к равнодушному нейтральному разговору и раскрывалась для внимательных глаз вся, даже спрашивая дорогу у случайного прохожего. Женечка не умела быть нейтральной. И не терпела банальности поведения и выражения. Некоторые люди потрясали ее, и она просто влюблялась в них, другие сразу вызывали протест. Женечка владела изысканной и своеобразной манерой разговора, очень женственной и интеллигентной — из какой-то другой эпохи, в ее рассказах самые непривлекательные персонажи приобретали романтические черты, заимствуя у рассказчика благородство натуры. Многие ее оценки людей и обстоятельств обладают тем удивительным свойством, что настигают людей через многие годы и только тогда вполне осознается их живой смысл. И ты вдруг видишь что-то ее глазами. Женечка обладала искусством выглядеть элегантно, ее живая красота жила вместе с душой и светилась всегда по-разному. Изящество и грация неотступно сопровождали самые обыденные, простые Женечкины поступки, которые благодаря этому выглядели как таинства, а не как затверженные механические действия, и чувство глубокого смысла и прелести происходящего никогда не оставляло близких и любящих ее людей. В 1997 года Женечка, пройдя многоступенчатый конкурс, одна из первых российских граждан, получила приглашение на работу в Совет Европы по предоставленной России квоте. На комиссию в Страсбурге решающее впечатление произвели ее опыт, образование и неподдельная искренность. С марта 1997 года Женечка работает в Департаменте политических дел специалистом по внешним связям. В сентябре 1997 года в Братиславе на заседании Ассамблеи ООН должен был состояться ее доклад в качестве эмиссара Совета Европы с изложением точки зрения Совета на события в Югославии. По дороге Женечка заехала в Москву, где ей был поставлен диагноз «острая лейкемия». Женечка проходила курс лечения в больницах Страсбурга. Два с половиной года болезни она несла на себе страшный груз физических и душевных страданий. Были и боль, и ужас, и «переоценка ценностей», и героическая стойкость. В тесной клетке мук Женечка узнала о жизни и смерти что-то, многим из нас, «свободным», недоступное.

19 ноября 1999 года в возрасте 27 лет Женечка скончалась.

Наталия Кантонистова, Павел Гринберг



*Наталья Кантонистова*

«ВСЕ ТАК УМИРАЮТ?»

Плач по Женечке  
(1972—1999)



Женинька, маленькая, прости меня, прости меня, прости меня.

*Доченька, доченька!*

*Все тебе, все твое!*

*Эти горы, вдали синеющие, горькие, пыльные, влекомые, влекущие, небо и землю соединяющие.*

*Твои — водопады, речушки, пруды, прудики, моря, океаны, лужи, окоемы.*

*Твои — цветы, рдеющие, лиловеющие, льющие синеву, горделивые, застенчивые, устремленные к солнцу, прячущиеся от него, влюбленные в жизнь.*

*Твои — травы, трепещущие на ветру, деревья ветвистые, деревья круглолицые, нежность рождающие, силы дарующие.*

*Солнце, звезды, их свет, небо, осиянное их светом, воздух, наполненный их музыкой.*

*Доченька, Доченька, откройся, прими эти дары. И любовь, огромней которой нет, прими!*

*Радуйся!*

Так написала я в дни первого нарождающегося ужаса, и листочки, вырванные из блокнота, положила Женечке, лежащей на больничной койке, под подушку. Листочки эти сохранены вместе с единственным письмом, посланным мною Женечке, и возвращены мне за ненадобностью. Адресат их, моя Женечка, моя маленькая, ушла из этого мира.

Где ты теперь, Женечка? Отзовись!

Прости меня, маленькая, прости и за то, что твой уход столь велик для меня, а я для него столь мала, что не могу почувство-

вать все целиком. Все какие-то фрагменты, осколки, и боль крошечная.

Прости меня, маленькая, наверное, я делаю и говорю что-то не так, я совсем потерянная. Да, мне не хватает бесстрашия, силы духа последовать за тобой, веры в то, что мы где-то там встретимся. Маленькая Женинька, я все думаю о твоих муках: как же безмерны, как чудовищны они были, и все так же не могу понять и, конечно, никогда не пойму, Господи, для чего же они были.

Женинька моя, помнится, не раз я виноватилась в большом и малом, все житейские сложности и все неразрешимое бытийное пытаюсь покрыть, разрешить своей виной. А ты, Солнышко мое, противилась, и, должно быть, не только для того, чтобы облегчить мне ношу, а по своему пониманию мироустройства. «Я думаю, в мире есть что-то, помимо твоей вины», — так не раз говорила ты, моя Женинька.

Когда-то, теперь кажется, совсем давно, когда все по нынешним меркам было благополучно, думала я порой о возможности того, что моя маленькая когда-то уйдет, конечно, когда меня уже не будет, и думала как о чем-то мирном и естественном. Ведь Женечка такая необыкновенная, ей дано будет проникнуть в те области и сферы, где нет места страху.

Но мы не успели, и даже моя маленькая, мое солнышко, моя Женинька не успела, хотя и были взлеты: «Мы не бедные, мы богатые, у нас есть крепость духа и смирение, и мы можем их растить».

А вот вырастить их мы, наверное, не успели... Говорю от себя, и полноты знания в том нет, и все же, все же чаще нас с головой накрывали отчаяние и мрак, враждебность и безжалостность мира.

Моя маленькая, моя Женечка, в марте 1997 года уехала из Москвы, из дома, работать в Страсбург, а к сентябрю из отдельных недомоганий сложился страшный диагноз — лейкемия. Диагноз был поставлен четвертого сентября, в районной поликлинике, в Москве, куда Женечка приехала на каникулы. Не мешкая, за Женечкой прислали «Скорую помощь», чтобы отвезти в больницу. Мы тогда, на что-то надеясь, сомневаясь в диагнозе, да просто потеряв голову, ехать отказались и от-



правились в Гематологический центр РАМН РФ на следующий день сами. Диагноз там подтвердили, и доктор Менделеева посоветовала Женечке лечиться во Франции, коль скоро есть такая возможность. Помню я, неофит в ту пору, подошла к недоброй памяти доктору Грибановой и начала ее расспрашивать о трансплантации костного мозга, полагая, что именно в ней, в этой самой трансплантации, может быть, наше спасение. И бескорыстно-жестокая доктор Грибанова на мои наивные вопросы просто так, безо всякой на то нужды, ответила: «До пересадки мозга надо еще дожить». Еще один удар в солнечное сплетение, а сколько их еще будет. Подобрал меня в тот день доктор Шкловский, вдохнувший веру словами: «С этим диагнозом можно жить и иметь семью». «Жить и иметь семью», — так я себе потом и твердила, так твердила и Женечке.

Седьмого сентября Женечка улетела в Страсбург, и началось ее лечение в Страсбургском госпитале. Нам объяснили, что лечение по плану состоит из трех циклов химиотерапии, а там, Бог даст, с такой-то долей вероятности, Женечка будет здорова. Девятнадцатого ноября 1999 года Женечка умерла.

Я записала, что вспоминалось о двух лютых годах, записала с тем, чтобы как можно дольше быть рядом, не отпускать, держать за руку, гладить по головке, не умея уйти вслед и не умея жить, болтаясь на юру, ни жива ни мертва, и все надеясь собрать силы, обрести бесстрашие и отправиться вслед за Женечкой. Порой обволакивает спасительное чувство: все сон, все снится, это — невозможно, этого не может быть, но ощущение такое слишком скоротечно, не удержишься. Порой, как Женечка, ее же словами молю: «Господи, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не мучай меня, что же тебе все мало». И от себя: «Господи, подари мне смерть, не медли».

Как, почему Женечка оказалась в Страсбурге? Должно быть, то было бегство от тупиковых отношений, переживаемых со свойственной Женечке иступленностью, пронзенностью ими до мозга костей. К тому же жажда независимости, самостоятельности, потребность в самоутверждении. Можно, конечно, все это объединить, обезличить понятием судьбы. Но зачем? Ведь для человека судьба проливается дождями, встает радуга-

ми, волнует изломами рек, очертаниями холмов, светоносным струением воздуха, порывами навстречу горю или радости.

Боже, и какое же нечеловеческое одиночество поджидало тут Женечку, всегда грезившую свободой и одиночеством и всегда изнемогающую под их тяжестью, не переставая мечтать о них. Одиночество велико и многогранно, оно может вырастить тебя, а может и погубить, все в нем: растворение, приобщение к миру и себе, к своей глубине; отчуждение и разрыв с миром.

Быть одной — так трудно, непосильно, так бездонно. Быть с людьми — так легко, празднично, и так мучительно: слова, ложь, раздрызг и так чужд ты самому себе. Как не надорваться? Как найти зовущее тебя одиночество, в котором растворение, равновесие с душой мира, равное для тебя, моя Женечка, жизни.

Женечиное самостояние, то, что было стержнем в моей маленькой, подвергалось угрозе размывания, и особые силы были нужны для поддержания своей целостности.

Моя маленькая, мой малыш, мне становится немного трудно так к тебе обращаться, как будто все более явственно вырисовывается для меня твое величие: пройти через годы мук, умирания гордо, отталкивая унижение, отказываясь от помощи, с готовностью пройти через все муки одной, лишь бы сохранить себя, свою суть. Моя маленькая, моя драгоценная, моя святая, я все не могу понять, это непостижимо, мой малыш, разве так могло случиться, разве ты ушла, и мы все так навсегда и будем виноваты перед тобой, и ничем, ничем нельзя искупить свою вину каждому из нас, внесшему свою лепту в твою гибель, не научившему тебя радости, не подарившему тебе ласки, света, нежности, восхищения твоей мудростью, самостоянием, красотой, изысканностью.

Моя любимая, на коленях молю, только принимай мою любовь, мое восхищение, мое обожание, где бы ты ни была, они дойдут до тебя, даже если ты забыла меня... Это страшно, но даже если это так, прими мою любовь, да найдет и согреет она тебя повсюду, моя главная, моя единственная, такая маленькая и такая мужественная.

*Да святится имя твое!*

Значит, нету разлук.  
Существует громадная встреча.  
Значит, кто-то нас вдруг  
в темноте обнимает за плечи,  
И, полны темноты,  
и, полны темноты и покоя,  
Мы все вместе стоим  
над холодной  
блестящей рекою.

Иосиф Бродский

Собираясь еще только на конкурсное собеседование в Страсбург, Женечка ходила в Библиотеку иностранной литературы и меня брала с собой.

Я видела в том незаслуженный подарок, принимала с восхищением и недоумением: «За что мне такое счастье?» То был наш излюбленный маршрут: по бульварам вниз, к Яузе. Рассматривали прекрасные альбомы, среди них с видами Страсбурга. С особым пристрастием вглядывались в страсбургские каналы, в их конфигурацию, их иероглифы; они прельщали, завораживали, манили.

Но Женечкины волосы, почему они так безжизненны, в них нет силы, защиты, их красота куда-то спряталась, почему так согбенна фигурка, так пожухли все краски жизни?

Да, мне впору каяться и в том, что я поддерживала Женечку в ее желании уехать — столь она была несчастлива, столь неприкаянна в Москве, а мне мечталось видеть Женечку счастливой, и не знала я, как помочь, только просила переждать, ибо образуется, изменится что-то. Но не в Женечкиной натуре было ждать, вот этого она в ту пору совсем не умела.

Тут-то и всплыл этот Страсбург, напряжение конкурса, «успех», как в то время называлась поджидавшая нас катастрофа. Женечка как будто была убеждена, что будет принята на работу в Совет Европы, и утверждала, что с первого марта

уже начнет работать в Страсбурге. Это при том, что ожидание результатов было невероятно напряженным. Четырнадцатого января 1997 года Женечка с повисшими несчастливо волосами рыдает в кресле, не имея больше сил ждать, не имея сил верить, отказываясь не верить. А на следующий день звонок — приглашение на работу, приглашение в смерть. Что мы почувствовали? Да, наверное, все сразу: и радость, и гордость, и удивление, и растерянность, и горечь разлуки. Мы обмирали, терзались, тщеславились, горевали.

Отмечаем наш «успех» в итальянской пельменной на Тверской, пытаемся найти в себе радость. Пельмени оказываются вкусными, и на том спасибо.

В первый же выходной отправляемся к Центральному дому художников за картинами в новое страсбургское Женечкино жилище. Женечка выбрала мастерски выполненную, многозначительную, холодновато-загадочную яркую даму, которая так и пребывала декоративным пятном в последующих Женечкиных квартирах. Я же споткнулась о неистовую деву, белую на красном фоне, принимающую от голубя весть о спасении. И Господи, как же потом она властвовала над нами, мучила, осеняла, дарила и отнимала надежду. И Женечка уже в последние сроки, читая Библию (так сосредоточенно впервые), вычитала, что голубь принес миртовую ветвь в Ноев ковчег, будучи выпущен вторично, и готовы мы были узреть в том угодный нам смысл.

Из домашней библиотеки Женечка отбирает книги в новый свой дом. Библия, И. Бродский «Стихотворения, проза», И. Бродский «О Цветаевой», А. А. Аверинцев «Риторика и истоки европейской традиции», М. Цветаева — двухтомник, «Небесная арка. Цветаева и Рильке», Р. М. Рильке «Новые стихотворения», О. Мандельштам «Стихотворения, очерки, статьи», Х. Кортасар — четырехтомник, Х. Борхес «Коллекция», Н. Покровский «Р. У. Эмерсон», Н. Покровский «Г. Торо», Н. Покровский «Ранняя американская философия», «Лабиринты одиночества» — сборник статей, под ред. Н. Покровского, Никита Евгениан «Повесть о Дросилле и Харикле», Л. Витгенштейн «Человек и Мыслитель», Л. Витгенштейн «Философские труды», М. Хайдеггер «Введение в метафизику», И. Ильф, Е. Петров —

двухтомник, Саша Соколов «Между собакой и волком» и «Палисандрия», «Малоизвестный Довлатов», В. Ерофеев «Страшный суд», М. И. Пыляев «Старая Москва», И. Бунин — двухтомник, Ф. Достоевский «Бесы». Множество словарей и материалы для написания диссертации.

За два дня до отъезда мы гуляем по Кремлю, заходим в соборы, вглядываемся в иконы, то есть Женечка в иконы, а я — в Женечку. Может быть, то было касание святыни, приобщение к тайне красоты, не подвластной времени, поиск благословения. На нас смотрели суровые, беспощадные, не дарящие света лики. Из сегодняшнего дня могу сказать: не было тогда пронизывающего холода и страха, были смелость и стоицизм собравшегося в путь.

Накануне отъезда сидим во французском кафе на площади Маяковского, молча разговариваем. Чувства придавлены камнем. Внезапно прорываются бурными слезами. Мне кажется, мы с Женечкой похоже плачем, а вот смеемся совсем по-разному. Разлука, нас ждет разлука, но не долгая, нет, не долгая — Женечка собирается в скором времени пригласить родителей в Страсбург.

...но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа, как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек: ибо каждый живой человек имеет свои способности и всегда имеет особенную и свою, новую, сложную, неизвестную медицине болезнь, не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и т.д., записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов.

Лев Толстой. *Война и мир*

Девятого сентября Женечка ложится в Страсбургский университетский госпиталь в отделение онкогематологии. Здесь с больными не миндальничают, не церемонятся: в первый же день выкладывают им диагноз и малоутешительный статистический прогноз. Обрушивают на человека, и без того выбитого из колеи, ослабленного недугом, удар предстояния перед смертью. Всякому ли такое под силу? Вы верите в описываемую в книгах «философскую смерть?» Господа врачи, вы знаете таких людей, свободных от ужаса, страха смерти, страха умирания? И себя причисляете к таковым? Что же, у вас будет возможность испытать себя на этом поприще. Всей силой своего страдания желаю успеха, господа, вам, натешившимся зрелищем чужих страданий и смертей и потерявшим представление о смертной муке, о цене человеческой жизни. А коль скоро вы не цените тутошную земную жизнь, то и место вам не в больнице, а где-нибудь в святой обители или святом одиночестве. Так ведь нет, все вы — махровые материалисты. Это я вам, доктор Мульвазель, и вам, доктор Курц, не пощадившим, не подарившим надежды людям, доверившимся вам. Для этих врачей человек не имеет права на болезнь, или, если иначе, болеющий не есть человек.

Мой же страшный опыт ровно о другом: в противостоянии болезни, в смертельном риске человек духовно растет и дорастает до самого себя, до сопричастности чужой, нет, не чужой — общей боли. А по гамбургскому счету мой крик, мой протест обращен ко всей современной медицине, внедрившей в умы своих adeptов такое безжалостное отношение к мученикам, и ко всем моим беспощадным современникам, разделяющим такой этический подход, простить которым Женечкину предсмертную муку и смерть по эту сторону смерти, преодолеваемые Женечкиным бесстрашием и силой духа, и все равно непреодолимые, не могу.

Все-таки милосерднее, как в старые добрые времена, умолчать о диагнозе или хотя бы о прогнозе. А если уж сообщаешь о диагнозе, то будь добр, истинно добр, поддержи человека в его вере в выздоровление.

Утешитель и специалист в одном лице — такое сочетание маловероятно, места первым в отделении онкогематологии не предусмотрено. Известно, что психотерапевтическая поддержка раковых больных нередко освобождает их от болезни. А если иначе сказать, душа первична, господа.

Поддержание стойкости духа у больных здесь, в онкогематологическом отделении, вероятно, возлагается на священнослужителей, время от времени со скорбно-просветленными лицами обегающих палаты и предлагающих, как коробейники из своего сундучка, кому что: кому сочувствие и надежду, кому свои представления о загробной жизни. Меня одна из таких сестер милосердия спросила: «Все еще надеетесь?» (И что мол, время и силы попусту тратите?)

Женечка лежала тогда в беспмятстве с черно-фиолетовыми веками.

Родственникам, на чьих глазах погибает их ребенок, их главный человек, им что ли вверяется функция поддержки? Именно тогда, когда они сами в ней бесконечно нуждаются. Посмотрите на родных, как они вам покажутся.

Способны они, каждый из них, иссеченный страшными муками своих главных и единственных, на ту поддержку, в которой нуждается бесконечно любимый ими человек?

Что касается тех, кто понимает язык птиц и знает лучше чужую печень, нежели свою собственную, то, полагаю, скорее должно им внимать, чем их слушаться.

Да, кто-то способен. Одну такую женщину, оберегающую и вытягивающую из бездны мужа, я видела, но только одну. Скажу еще, что у этой Женщины (с большой буквы написано само и не случайно) были братья и сестры, было четверо взрослых детей и несметное число внуков, и они, ее семья, поддерживали эту женщину и давали ей силы держать мужа на этом свете. Эта Женщина и нас с мужем поддерживала. Мне, например, рассказывала, что она опросила многих больных, и у всех все было хорошо, так прямо и говорила: «У всех все было хорошо». Я смотрела и слушала ее, раскрыв рот, не то чтобы веря всему, что она говорит, но хоть немного просветляясь. И к Женечке эта Женщина заходила с улыбкой и добрым словом, иногда с забавной игрушкой, и в гости Женечку по выписке приглашала, вовек ее не забуду.

«Круговая порука добра». Муж ее не скажу что здоров, но жив и бодр. Женщина эта — Кристиан Зифферманн, психотерапевт по призванию, а лучше — целитель души, какие и нужны в первую очередь в таких отделениях, отделениях «пропащих». Такими видят своих пациентов нынешние специалисты от медицины — даже слово «доктор» не могу из себя выдавить: доктор по определению добр и милосерден, и знаю я это с детства, а все, что знаешь с детства, — непоколебимо. Потому что таким добрым и мудрым доктором был мой дедушка — Николай Абрамович. И произнося это слово — доктор, я всякий раз вижу дедушку и всех равняю по нему.

Светлая ему память.

Но здешние специалисты видят свое назначение только в точном (дай Бог, чтобы так) следовании так называемой программе, статистически обобщающей опыт ведения подобных больных и заодно предающей одного-единственного человека



и снимающей с врача ответственность за результат лечения, воспитывающей в нем безразличие к человеку, приоритет статистики. Это какой-то нечеловеческий, механистический, в нашем случае «химический» подход. Не знают они, не ведают, что ли, что вера в выздоровление почище всех их химических колб чудеса творит? Кто-нибудь когда-нибудь из власть предержащих подумает об этом? Или только тогда, когда его единственный будет смертельно болеть?

Господи! Дай мне терпение, чтобы вынести то, что нельзя изменить, дай мужество, чтобы исправить то, что изменить можно, и — мудрость, чтобы отличить первое от второго.

Молитва оптинских старцев

Первые дни в больнице Женечка скорее возбуждена, чем подавлена. Случалось даже такое настроение свободы, что ли, пополам с растерянностью, когда казалось, что вот выпало Женечке такое время, когда она, наконец-то, предоставлена самой себе, никто от нее ничего не ждет, можно думать всласть о своем, читать, учить наизусть любимые стихи.

Женечка много смеется, ерничает, воюет с врачами. Война с врачами началась с того, что они сразу уведомили Женечку о невозможности в будущем иметь ребенка, однако после Женечкиного бунта, рыданий и переговоров, оказалось, что эту проблему можно-таки решить, введя определенный, защищающий половые железы, препарат. Женечка по этому поводу не без гордости шутила, что она тем самым защитила не только свои права, но и тех, других несчастных, попавших сюда женщин, кому в потрясении и испуге такое в голову не придет. Но и к сотрудничеству с врачами Женечка еще готова и соглашается принять участие в эксперименте — приеме нового дополнительного лекарства, однако по жеребьевке в число участвующих не попадает.

У Женечки постоянно люди, влекомые кто чем: сочувствием, любопытством, чувством долга. Женечка охотно принимает всех, во всяком случае, люди ее еще не тяготят. Часто произносит слово «смерть», с насмешкой, с вызовом, с угрозой непослушным зловредным врачам, еще не зная, что их ничем не проймешь, они выгорели дотла, люди для них лишь за стенами больницы, здесь лишь нелюди-пациенты, маргиналы, как потом, горько закавычивая, будет говорить о себе Женечка. На все лады, пытаясь справиться, повторяет Женечка ранившие

ее пуще всех прогнозов непосредственные слова одного «участливого» врача, не имеющего отношения к лечению: «А вы все-таки поправляйтесь». Смерть — пока только слово, оно еще не обросло ни чувствами, ни мыслями, пока можно азартно играть в жизнь и смерть. Просит меня привезти из Москвы «Иосифа и его братьев» Томаса Манна, сборник шахматных этюдов, новую пижамку и старую шаль: красные ягоды по черному фону. Старые преданные вещи, мы так много пережили и выстояли вместе с ними, наша преданность обоюдная; сейчас время им поддержать нас, нам не обойтись без их поддержки. К ним так хочется прижаться, они не оттолкнут, они обнимут тебя. И в больнице Женечка в эту шаль куталась, и по лесным дорогам в ней бродила, и дома, в последние сроки, на головку завязывала, когда озноб бил. Женечкин наказ нам: «Помощь принимайте, не отказывайтесь».

Приезжаем семнадцатого сентября. Женечка в той самой белой рубашке, в которой будет умирать, коротко стриженная (так подружка подготовила Женечку к потере волос), красивая, с пронзительными глазами, родная, бесконечно родная.

Обнимаемся. Скоро появляется друг Сечкин со статьями о заболевании. Что-то обсуждаем. Женечка настойчиво отправляет нас ужинать. Первый и последний раз глотаем суп в китайском ресторанчике, что в соседнем с Женечкиным доме.

В первые больничные дни мы, потрясенные, сбитые с толку, обезумевшие, пытаемся обсуждать, отчего так случилось, отчего Женечка здесь, в больнице. «Я и так не такая, а тут еще эта болезнь», — смущенно говорила Женечка. Выходило одно: мы не умели радоваться, грех уныния покрывал нашу жизнь. Женечка сетовала и удивлялась, что не нашлось никого, кто бы сказал, объяснил, что у нее, у Женечки, все хорошо, все в порядке, что так можно жить, жить и радоваться. Мое покаяние Женечка отвергала: мы слишком близки. Кто мог быть этим человеком? И по сю пору не знаю. А во мне билось еще и другое, не умеющее сказаться тогда, осознанное теперь: твоя болезнь, моя маленькая, это твое дерзновение, твое нетерпение, нечеловеческое напряжение стремительного роста, ты растешь так быстро, ты опережаешь саму себя, плоть твоя не поспевает за

твоей духовной статью. Да и когда это нравственные, духовные достоинства: ум, талант, правдивость, благородство, щедрость, безоглядная смелость обеспечивали силу приспособляемости к миру дольнему. Эти твои достоинства, Женечка, страшно произнести, давали «повод жить коротко, быстро и внутренне сильно». Как-то Женечка спросила меня: «А для тебя-то что изменилось?» Я содрогнулась, чем-то обидным повеяло, только потом поняла: не было здесь сомнения. Женечке, так же как и мне, нужны были слова: как дорога, любима, бесценна моя Женечка, как боготворю я ее, как не мыслю себя без нее и как перевернулся мир с ее болезнью.

К этому времени Женечке закончили вводить «химию». На следующий день переводят в стерильную палату. Поначалу самочувствие приличное, что отчасти даже удивляет врачей, но длится такое состояние недолго, возникают боли во рту, желудке, резко поднимается температура, слабость такая, что трудно пошевелиться. Впервые за это время видим Женечку смятенной, плачущей.

Каждое утро после короткого забытья, растерзанная, я сползаю с топчана, не понимая, не веря, неужели у нас эта страшная болезнь. Сердце разрывается, ноги не идут и все-таки приводят к трамваю. Каждая остановка — зарубка на сердце, каждая остановка приближает к гибельному месту, где мечется моя маленькая. С трамвая иду по мосткам через ров, заклиная: «Женечка будет здорова и радостна, Женечка будет здорова и радостна...» Госпиталь, длинный коридор, лифт на двенадцатый этаж, вход в отделение онкогематологии, тугая двойная дверь, опять коридор, запах больницы, двери в палаты, за одной из них Женечка. Скорей увидеть, дотронуться, найти в себе капельку света, протянуть ее Женечке. При открывании двери всегда проделываю один и тот же неуклюжий ненужный поворот вокруг своей оси: медлю, тороплюсь, цепенею. Вхожу в тамбур палаты: маска, дезинфекция рук. «Солнышко, это я». Женечка не всегда в силах ответить, иногда вместо приветствия невнятный звук. С жадностью вглядываюсь в Женечку: каким будет сегодняшний день? Свою боль, напряжение, муку Женечка прячет от нас, никогда не жалуясь, только ножки своим беспокойством дают знать, что

Женечке невмочь. Я бросаюсь растирать, массировать их, заговаривать, изгонять Женечкину муку.

Ждем перевала. Мы уже знаем, что, как правило, недели через две после гибели клеток крови, должно начаться их восстановление и общее улучшение, за которыми должна последовать домашняя неделя — неделя каникул, так что можно тешить себя мыслями и разговорами об этой вожделенной неделе. Понемножку читаем вслух «Двенадцать стульев», но что-то у нас плоховато с юмором. Берем за Бунина: «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи». И всюду-то у него смерть. Как это у него в дневниках: «Блаженны мертвые, иже избрал и принял еси Господи». Уклониться, оборвать чтение или читать, как о чем-то высоком, естественном, не отвергающем, а венчающем жизнь, укорениться в таком понимании, попытаться укорениться. А по правде, так мне казалось, Женечке важнее слышать мой голос, и я продолжала читать и тогда, когда Женечка засыпала, а случалось такое нередко. Пытаемся слушать радио, но думаем, мечтаем об одном: обнять, обнять Женечку, освобожденную от этих страшных трубочек, штатива, катетера. Женечкин отец уезжает в Москву, нам все-таки кажется, что лечение идет успешно. Женечка жалеет меня, постоянно посылает в буфет подкрепиться, беспокоится, кто же меня поддерживает. Мои ответы-отчеты выслушивает ревниво, вердикт выносит сама, по каким-то только Женечке ведомым признакам, опровергая порой мои слова немногословным: «Нет, я вижу, какое у тебя опрокинутое лицо». Это правда, лицом я не владела, и любая поддержка здесь была бы, наверное, бессильна. Прощаясь на ночь, Женечка, когда были силы, напутствовала меня нашим московским пожеланием-заклинанием: «Аккуратненько».

Надежде, как всякому проявлению творческих сил души, нужен побудительный импульс — любовь.

Торнтон Уайлдер

В положенное время делают главный анализ — пункцию костного мозга, он должен показать, все ли опухолевые клетки убиты. Мы еще немного прежние, мы еще верим: плохого просто не может быть. Уверяем в этом Женечку, уверяем с чистой совестью.

Но анализ плох. Я узнаю об этом от Женечки, рыдающей в телефонную трубку, я еще не понимаю почему, я еще вообще мало что понимаю в болезни, но тревога делается нестерпимой. По приезде в больницу как раз вижу, что устанавливают на штативе новые зловещие банки для повторного курса химиотерапии. Выхожу в коридор, не хочу, чтобы Женечка видела мои слезы.

Сердобольная медсестра желает меня утешить: «Болезнь зла, и не в первый раз случается такое, что ее не удается убить сразу». Что же, спасибо и на этом. Теперь я хотя бы могу сообщить Женечке, что такое случается, такое бывает, развить эту тему, убедить себя, убедить Женечку, что ничего особенного не происходит, все идет своим чередом. В этот день, второго октября 1997 года, четверг, происходит резкое ухудшение состояния. Высочайшая температура, бесконечная слабость.

Нарушения движения, речи, рвота, понос. Женечкино лицо постоянно меняется: меняются черты, цвет, выражение. Женечке трудно дышать, начинают давать кислород. Седьмого октября — страшный врачебный обход.

Звучит слово «schlimm» — плохо, и предупреждение, что в ближайшие два дня будет еще хуже. В тот же день от некой патронессы в непонятном мне контексте слышу впервые невозможные, страшные, отнимающие веру слова.

Зачем, зачем она это говорит? Женечка из последних сил звонит в Москву. Зовет отца, который неделю назад вернулся

из Страсбурга, полагаясь на благоприятный ход лечения. На следующий день, восьмого октября, отец прилетает. Ночует в больнице. Девятого октября с утра Женечке как будто немного лучше, ей вдруг хочется есть, она впивается в булку. Помню Женечкину улыбку — легко взметнувшуюся, как солнечный лучик, бессознательную, детскую, светлую, доверчивую, которой Женечка будто вверяла себя неведомому. Улучшение подтверждает и приглашенный отцом врач. Сразу после ухода врача, Женечка произносит: «Я умираю». Спустя короткое время — эпилептический припадок, сбегаются медсестры и врачи. Мы сидим в телевизионной комнате, раскачиваемся и взываем: «Господи, помоги!» После укрощения приступа безжизненную Женечку с чепчиком на головке увозят делать сканер. Никто почему-то не понимает, что Женечка без сознания. Женечки долго нет. Когда привозят обратно в палату, приставляют к Женечке какие-то следящие приборы, с пальчика все время спадает клемма, я все пристегиваю ее обратно. Заходит дежурная медсестра, ее что-то настораживает, она приподнимает Женечкины веки, идет за врачом. В это время случается повторный эпилептический припадок, на мои истошные крики опять бегут медсестры и врачи. Женечку везут в реанимационное отделение, она кричит и вырывается из охватывающих ее петель, а мне объясняют, что там будет лучше — более пристальное наблюдение, более совершенная аппаратура.

Сижу в опустевшей палате, жду мужа и приехавшего к тому времени брата. Идем в реанимационную. Женечка по-прежнему кричит и бьется. Рядом с ней главный реаниматор — доктор Лютан. Женечка без сознания. У Женечки кома. У нас записывают номер телефона. Весь следующий день мы лежим пластом дома, не в силах подняться, содрогаясь от телефонных звонков. Звонки случаются, к телефону с ужасом всякий раз подходит брат. По телефону нам сообщают, что сканер головного мозга показал три небольшие гематомы. Что это значит? Сколь это важно? Совсем плохо, окончательно плохо?

На следующее утро встречаемся с главным реаниматором. Реаниматор с непривычно человеческим лицом, искаженным мукой сострадания (так и остался в памяти доктор Лютан,

вспыхивающий твоей болью или твоей радостью, худенький, хрупкий человек, которого и Женечка почувствовала и полюбила), принужденно объясняет: он пессимист — и излагает все основания для пессимизма. В голове мутится, понимаешь одно: доктор Лютан сделает для Женечки все возможное. А тебе остается молиться. Женечка из коридора переведена в палату, и ее можно навещать. В отведенные часы, продлевая наши посещения сколь возможно, мы у Женечки. Женечка кричит и бьется. Мы молимся, молимся, молимся. Не своим голосом я пою детские песенки, и — о чудо! — Женечка, случается, на минуту затихает, будто прислушивается. И я зову, зову Женечку: «Женечка, ты выздоравливаешь, плохие клетки убиты, растут хорошие, возвращайся, не уходи».

В эти тихие, спокойные минуты Женечка нежно, трепетно красива, в Женечкином лице угадывается, рождается лик. «Лицо становится истинно человеческим, когда оно уводит за рамки своих черт, куда-то вдаль и вглубь, в то, что больше него и ни в какие черты не вмещается. Уводит в Дух. <...> Вот когда лицо станет ликом, отражающим и выражающим смысл Мира» (Зинаида Миркина). Ты ведь так хотела иметь выразительное лицо, моя маленькая, ты до него доросла. Порой, в неурочные для посещений часы, сидим во дворе госпиталя: перед глазами вазон с цветами, одна прядь цветов вкрадчиво спускается по стенке вазона — есть что-то в этом завораживающе-обнадеживающее. Иногда бродим под окнами реанимационного отделения, твердим, твердим молитву.

В один из дней встречаемся с главой онкогематологического отделения.

Он рассказывает нам о поражении мозга и, ссылаясь на подобные случаи в его практике, готовит к самому худшему. Нет, мы не готовы и не собираемся готовиться, в нас отвержение и бунт, мы еще не растеряли силы для сопротивления ужасу и болезни — такого исхода быть не может, Женечка будет жить. В этой вере нас поддерживает московский доктор Шкловский. По нашей просьбе и просьбе Женечкиных коллег собирают консилиум из врачей реаниматоров и онкогематологов, но по настоящему никакой это не консилиум, потому что совместного



обсуждения Женечкиного состояния и возможностей лечения между врачами на нем не происходит. Врачи разных специальностей то ли не хотят, то ли не умеют вместе работать. Эта встреча — скорее дань уважения и сочувствия нашей тревоге и отчаянию, но она предоставляет нам возможность высказаться, чем мы и пользуемся, не стараясь быть корректными, не скрывая недоумения и ужаса. Реаниматоры были более сочувственно настроены, а гематологи — ожесточены, и понятно почему: ответственность за Женечкино состояние, в той мере, конечно, в которой они готовы были ее на себя взять, все-таки лежала на них. С того дня и началось наше с врачами-гематологами, а в первую очередь с главным специалистом, доктором Мульвазем, противостояние, прерываемое короткими периодами перемирия, что случались порой в моменты нашей импульсивной благодарности или опаматования через произносимую ежечасно молитву, обращенную к Пресвятой Богородице, со звучащими в ней словами: «ум и руки врачующих нас благослови». Женечка в эту молитву тоже верила, текст ее всегда лежал у Женечки под подушкой, а в последние сроки книжечку с молитвой Женечка положила среди листков со страшными анализами крови. Книжечка и сейчас там лежит, хотя руки чешутся, скажу прямо, в проклятиях, посылаемых всем и всему, изничтожить книжечку. А полюбить врачей, как просил нас ради нашей же пользы доктор Шкловский, и поверить им мы не сумели.

На помощь Женечке приходит друг Сечкин и прекрасная Энн, наделенная даром деятельного сочувствия. И доктор Лютан иногда незримо, но постоянно присутствует. Однажды, семнадцатого октября, доктор Лютан говорит нам, что у него есть робкие основания для оптимизма: Женечка открывает глаза. И сам вспыхивает навстречу нашим счастливым слезам. А на следующий день уже друг Сечкин горделиво заявляет о своих успехах: Женечка откликается на его призывы, открывает глазки, пытается приподняться. Сечкину в ту пору я была благодарна, от него исходила сила, Женечка к нему тянулась. И еще я видела, как он подле Женечки неистово молился. Вот уже и мы понимаем: Женечка выходит из комы, возвращается.

Женечка понимает обращенные к ней слова. Помню как величайшее чудо: в ответ на мою мольбу Женечка пожимает мне руку (Господи, как я помню, твою горячую ручку, встречно сжимающую мою!), а на просьбу веселой медсестры Валерии улыбнуться — послушно составляет губы в улыбку. Говорит Женечка беззвучно, губки шевелятся, а слов не слышно. Первое, что мы разбираем, — слово «Карола». Что это — нечто реальное или из мира Женечкиных грез?

Оказывается, Женечка хочет пить, а «Карола» — это минеральная вода, стоявшая на столе напротив. И скоро Женечка понемногу пьет и съедает 2—3 ложки йогурта. Женечке делают решающий анализ крови, доктор Лютан сам берет пункцию костного мозга. Нам объявляют о ремиссии, о помиловании. Мы обнимаемся, плачем.

Через несколько дней доктор Лютан, побеседовав с Женечкой с той ласковостью и уважением, на которые способен только он, заключает, что Женечка вполне пришла в себя и ее можно перевести обратно в отделение онкогематологии. Нам бы только радоваться, но с доктором Лютаном мы чувствуем себя надежнее и потому даже просимся на несколько дней задержаться в его отделении. Доктор Лютан нас не понимает, он считает, что в реанимационном отделении находиться много страшнее, да и существуют какие-то формальные основания для нашего возвращения в онкогематологию.

Ничто так не укрепляет надежду,  
как чудо.

Торнтон Уайлдер

После выхода из комы, казалось: раз вернулась, раз Бог вернул, значит, решил оставить Женечку на земле, значит, выздоревает Женечка. Даже вызов какой-то созревал: все, мы «там» были, и довольно, хватит с нас.

Но потихоньку вкрадывалось сомнение: не бывает так просто, слишком просто. А по чисто медицинским критериям кома, вызванная интоксикацией одним из использованных при химиотерапии препаратов, определила изменение курса лечения, что снизило вероятность успеха. И какой критерий вернее, мне с моего места было не видно.

После выхода из комы Женечка порой недоумевала: как же так, ее, Женечки, не было здесь, на земле, а жизнь шла и шла, и люди жили, как ни в чем не бывало. Должно быть не так, моя маленькая. Те, кто тебя любил и страдал за тебя, росли вслед за тобою, а до остальных ну что нам за дело. У каждого свое горе и своя радость. На кого обижаться, коль скоро мы созданы такими разобщенными, такими отдельными, такими одинокими. Рильке говорит: «...мы только и делаем, что рассеиваем себя, и мне кажется, все мы какие-то рассеянные, занятые, и не обращаем должного внимания на умирание людей...»

Нам кажется, уход человека что-то значит для других, как-то отзывается в сердцах. Не стоит заблуждаться. Он значим только для нас, боготворящих и боготворимых, а ты, Женечка, боготворима нами. И временами понимаешь: это так и должно быть, и так хорошо. Недаром говорят, и говорят верно, хотя и всякий о своем: каждый умирает в одиночку.

Содрогаешься, и хочется, конечно, чтобы кто-то, всей душой тебя любящий, не разделил, нет, такое разделить нельзя (Бродский пишет: «Ведь если можно с кем-то жизнь делить, то кто же с нами нашу смерть разделит»), а проводил и оплакал

бы. А взаправду, так и надо, умирать одному, как мудрые звери. Просто нужно не бояться. Моя маленькая Женинька, как ты меня к этому готовила, я не имею права не принять твой урок.

Ожидание чуда — жизнь,  
испытание чудом — счастье.

Женя Кантонистова

Из реанимации Женечку возвращают в прежнее отделение, поначалу в двухместную палату. Мне кажется, Женечка избегает моего взгляда. Да я и сама боюсь: что я могу сказать Женечке, как объяснить этот ад. И вдруг мы встречаемся глазами, и я чувствую Женечкину любовь, веру, готовность принять, ничего не спрашивая. И при расставании крепко-крепко целуемся в губы.

Меня вдруг ударило: неужели я когда-то была любима, так любима. Я теряю способность понимать, чувствовать, как это — быть любимой моей маленькой.

Когда Женечку переводят в одноместную палату, ее навещают приятели.

Женечка их занимает, шутливо рассказывая, что в реанимационной у нее появился жених и она очень надеется, что он навестит ее и здесь, и, может быть, получится что-то вовсе не шуточное. И заливается не своим обычным, раскатистым, громким, а нежным, девчачьим смехом.

С Женечкой начинает заниматься врач-кинестезиолог. Вот Женечка понемножку встает и начинает ходить, и это кажется невероятным. А через неделю нас выписывают, и прекрасная Энн, случайно заехавшая навестить Женечку, отвозит нас домой.

Предстоит неделя каникул. На следующий день по выходе из больницы Женечка с друзьями едет в монастырь Сент-Одиль, что высоко-высоко парит в горах. Там же и часовня Святой Евгении. Женечка резва, шаловлива: спотыкается, падает, принимает поддержку, нежно чувствует жизнь. Жизнь внутри и снаружи одина, и Женечка к ней приобщена. Получает в подарок старинную плетеную сумочку, которая потом долго ви-

сит на стене. Подняться по лестнице домой Женечка уже не может — устала, ее вносят на руках.

А на другой день Женечка задумывает провести неделю каникул в Дурбахе. Так называется маленькое чудесное местечко в Шварцвальде, где мы как-то летом, случайно на него наткнувшись, провели несколько безмятежных часов. Благодаря стараниям отца, снявшего жилье, мы отправляемся в Дурбах. Уютная, удобная, просторная квартира. Сразу же по приезде, закутав Женечку в плед, выходим в еще зеленый яблоневый сад. Низкое солнце, яркая высокая трава. Сидим в креслах, любимся, нежимся на солнце, немножко прогуливаемся по саду. Женечка совсем слабенькая, большую часть дня спит или тихонько лежит то в гостиной, то в спальне.

Массируем ножки, спинку, читаем вслух Достоевского — «Игрока», Гоголя — «Тараса Бульбу». Пытаемся подниматься по вьющейся среди виноградников дороге. Тяжко, быстро наступает изнеможение — бешеный пульс, одышка.

Мечтаем дойти до поворота дороги. Наконец удается. Наше жилье естественно перетекает в двор, траву, деревья. Так невероятно раскрыть дверь на улицу и сразу быть омытым осенним светом и воздухом. Иногда просто стоим у порога нашего жилища. Перед нами палисадник: кустики, маленькие деревца, которые то ли отцвели, то ли своими набухшими почками готовятся расцвести вновь. Птицы, норовящие сесть на вершину дерева. Вдоль бордюра палисадника еще цветут крошечные бледные розочки, позже их накроют лапником. Нам созвучен этот час природы, он сладко тревожит нас родством, неразрывностью увядания и цветения. В любую минуту можно зайти в тепло и уют дома. Так ласковы, так первозданно все вещи в нашем новом доме, будь то чайник, кастрюля, настольная лампа, радиоприемник, так неожиданна и отрадна льющаяся из него музыка. Женечка вглядывается, прислушивается — недоуменно, озадаченно, многое видит будто впервые, раз и навсегда. Женечка полна душевной серьезности, нежности и уважения к жизни. Тает страх, непонимание переплетается с благодарностью, рождается родственное внимание ко всему здешнему. Наше постоянное желание коснуться Женечки, драгоценная возможность

коснуться, помочь умыться, одеться, напоить морковным соком, накормить легкими супчиками. Помню свое ликование, когда Женечка, лежа в спальне, попросила вторую порцию салата.

Сосредоточенность, созерцание, готовность быть.

Как-то Женечка сетует, что потеряла свою рисковость. Нет, не могу принять, знаю, что она укрепилась в своем бесстрашии, знаю, что взрастила свою мудрость.

Однажды на машине поднимаемся на высокий холм к старинному (XI век) замку. Женечка полулежит на смотровой площадке, держась за перила. Впервые обозреваем ошеломляющий пейзаж, который порой будет казаться привычным, чтобы потом опять поразить с новой силой.

Женечка маленькая, сжалась в комочек на большой кровати в спальне в коричневом любимом свитере. Невидящий взгляд устремлен в окно, в окне большой зеленый, поросший виноградниками холм, мы зовем его «Волшебная гора». Видит ли его Женечка? Плачу. «Что же ты плачешь, я же с тобой».

Моя безнадежность отступает.

Мы частенько спали все вместе, укрывая друг друга от страха. Во сне Женечка обыкновенно навзничь ложилась на меня, я замирала от нестерпимой нежности, тревоги, жгучей потребности остановить мгновение.

По вечерам гуляем в густом тумане «из ниоткуда в никуда».

Down to Gehenna or up to the Throne  
He travels the fastest who travels alone<sup>1</sup>.

R. Kipling. *The Winners*

По приезде в город Женечка идет с другом Сечкиным в китайский ресторан, слабенькая, воодушевленная, по-новому красивая, нежно шальная. Нас навещает Женечкина подруга Оля, помощь которой была поистине безмерна. Бывает у нас Энн. С воодушевлением объясняет Женечке, что предстоящие вслед за лечением два года медицинского контроля, что так пугают нас, только кажутся сейчас столь бесконечными, ведь по сравнению со всей открывающейся Женечке жизнью, срок этот вовсе невелик. Мы соглашались, кивали, но предельно ясных слов ее в своей оглушенности не понимали.

Через несколько дней Женечка приглашает в ресторан нас с отцом.

Размягчившись среди чужой безмятежности, говорю Женечке, кивая на сидящую неподалеку девушку: «И ты, Женечка, будешь такой же здоровой и красивой».

И Женечка в ответ: «Я знаю». Женечкин отклик меня очень приободрил, я привыкла абсолютно доверять Женечкиному чутью.

После многих анализов и тестов проводят третий половинный курс химиотерапии, проявляя осторожность после комы, и отпускают домой, дав наказ сразу же возвращаться в больницу, если поднимется температура.

Температура спустя несколько домашних дней поднимается. Мы снова в больнице. У Женечки случаются приступы лихорадки, когда ничем, никаким количеством пледов невозможно остановить крупную дрожь, сотрясающую все тело. Многократные обмороки, распластывающие Женечку на полу палаты. Иногда Женечка совсем серьезно, настойчиво предлагала: «Ло-

---

<sup>1</sup> Вниз к геенне огненной или вверх к престолу Всевышнего  
Он путешествует — быстрееший из всех одиноких путников (англ.).



жись со мной». Потребность в разделении страданий не была удовлетворена. Из своего неизменного кресла, уложив голову на руки, я устраивалась на Женечиной кровати, притуливалась к моей маленькой, чувствуя родное, истончившееся тепло. Я могу только баюкать тебя, только нежить тебя, я могу только любить тебя, до остального мне нет дела.

Наконец мы дома. И впереди у нас немалые каникулы — двадцать шесть дней. Как мы пытались беречь это богатство, берегли и расточали, и как потом из этой громады в двадцать шесть дней неизменно вычитался день за днем, и таяла громада, таяла.

И вновь возвращение к жизни. Медленно, вслушиваясь в каждый шаг, гуляем по соседнему парку Оранжери, по Ботаническому саду. Заново видим траву, ее отдельность и ее причастность, ее бедность, горечь, противостояние горечи, ее застенчивость, безмолвие, усталость и распрямленность. Взгляд проходит через листву, ветви, все пронизаемо взгляду, прозрачно, открыто, осиянно. Свет то струится волнами, то застывает. Тишина в тебе и в мире, и тихий восторг — Женечка здесь, на свободе, с тобой, вы вместе, любимая, маленькая, непривычно кроткая.

Ушла Женечка, и с ней вместе ушли от тебя нежность, доброта, все смеющееся, дерзкое, лучистое, чарующее, родное, ушла здешняя жизнь.

Повсюду ее отсутствие. Отсутствие, нежизнь. Зачем ты здесь, ты ничего не хочешь, не можешь, разве что капельку жалеть всех, и удивляться тому, что жалеешь. Боль выгрызает внутренности, мертвая душа, мертвый дом, ожидание ночи, забвения, ухода. Смерть, приди, забери, укрой от муки. Ухватиться за живое, обвиться вокруг Женечки, срастись навеки.

Однажды Женечку приглашают в кино. Фильм ровно о больном лейкемией. В группе приятелей смятение. Одни, во главе с Олей, настойчиво выводят Женечку из зала. Другие почему-то в обиду на Женечкин уход.

Женечка приходит из кино в раздрызге — ей хочется, еще хочется ладу, общности. Женечка кому-то звонит, пытается сгла-

дить возникшую взаимную неловкость. Кто-то прямолинейно сообщает, что герой от лейкемии погибает.

Теперь мой черед, преодолевая ужас, настаивать, что у нас все будет иначе, ровно наоборот, мы выздоровеем. Маленькая Женечка меня доверчиво слушает и как будто принимает мои доводы. А выслушав их, примиряюще, спокойно говорит свое: «Может быть, мне еще немножко удастся успеть поработать, а может быть, даже и попутешествовать».

Как-то выходим с Женечкой в город, надо купить отцу теплую куртку в подарок ко дню рождения. Женечка очень любит делать подарки. Ведет меня в книжный магазин и покупает тоненькую книжечку. Это проза Рильке — «Флорентийский дневник». Женечка полагает, что мне следует заняться переводом. И мы обе радуемся задуманному Женечкой делу.

Неожиданным и оттого еще более радостным для Женечки стал приезд ее бывшей начальницы и одновременно подруги с первой московской работы — Джинни. Джинни была первая, кто навестил Женечку в Страсбурге еще в марте того года. Тогда они проехали с Женечкой по живописному винному маршруту, по деревням, где из местного винограда делают вино, так что всякий может выбрать себе подходящее по вкусу. От Джинни веет оптимизмом, не случайным и не на потребу дня, а подлинным, как подлинно в ней все: румянец, улыбка, рукопожатие, дружеское участие. Женечка рядом с ней такая бледненькая, хрупкая.

Кто обладает достоинствами, пусть выкажет это в своем поведении, в своих повседневных словах, в любви, в ссорах, в игре, в постели, за столом, в ведении своих дел и своем домашнем хозяйстве.

Мишель Монтень

Наконец мы едем в полюбившийся Дурбах. Именно в этот период, в декабре-январе 1997—1998 годов, случилось настоящее узнавание Дурбаха. В первый же по приезду день мы пешком поднялись к замку и с тех пор проделывали этот подъем ежедневно, иногда и не по одному разу. Потом наши прогулки удлинились, мы освоили настоящие лесные дороги, воплотившие наши мечты и представления о Шварцвальде. Однажды, кружа по лесным дорогам, которые то степенно поднимались, то плавно спускались вокруг лесных островов, набрали на хутор, ставший отныне естественной целью наших прогулок, а впоследствии Женечкиных забегов. Помнишь, Женечка, мы поднялись как-то вечером к замку, пошли в сторону хутора. Стемнело, возвращаться в темноте было немножко жутковато. Среди ветвей сияли звезды, кто-то копошился, шуршал, хрустел сучьями в лесу, мы едва удерживались, чтобы не ускорить шаг, не побежать к дому... Напротив, останавливались, прислушивались, вбирали в себя холодный вкусный воздух, мерцающее звездное сияние.

Поначалу мы разместились в тех же, что и в первый раз, нижних комнатах, а позднее, с приездом новых гостей, переехали на второй этаж, где нам показалось еще уютнее, возможно, оттого, что внизу, на первом этаже, размеренно, с чувством и толком хлопотали наши хозяева. От них вместе с ароматами кофе и вкусно приготовленных обедов к нам наверх просачивалось и чувство защищенности, нечаянной поддержки.

В Германии Женечка, обладая, казалось бы, совсем невеликими познаниями в языке, не смущаясь, а, напротив, охотно,

даже азартно, отклоняя помощь родителей, вступает в разговор с местными жителями.

В тот месяц мы немало поездили по округе по маленьким, немного игрушечным немецким городкам, частенько под томное пение Лаймы Вайкуле. «Взгляд влеком к одиноко стоящим деревьям», — как-то заметила Женечка.

Женинька сидела впереди, а я сзади, не сводя с моей маленькой глаз, не в силах наглядеться. А позже, в какой-то момент, Женечка пересаживается на заднее сидение. И тогда я содрогнулась, и теперь содрогаюсь. То был знак, знак отказа, ухода, самоустранения.

Вспоминается маленький городок — многоярусный старинный Генгенбах с часовней на одном из холмов, одаривающий ощущением медленно и рачительно текущего времени, покоем и безразличием к чужакам. После прогулки по городу заходим на рынок старых вещей — здесь игрушки, украшения, пуговицы, кружевные салфетки, воротнички, значки, ордена, домашняя утварь, одежда, что-то из мебели. Мы подчеркнуто внимательны к этой россыпи крупинок прожитого, к той золотой пыли, что остается на земле после нас. Женечку привлекла деревянная, ярко разрисованная подставка для кассет в виде скелета, высокая, в человеческий рост, то вспорхнуло облачко Женечкиного черного юмора.

Часто по вечерам, уже после ужина, выходим с Женечкой из дома, взбираемся на ближайший, сроднившийся с нами холм... Всматриваемся в ночное небо, пытаюсь распознать созвездия. (По Женечкиной просьбе друзья прислали ей книгу «Сокровища звездного неба».) Отыскиваем любимую, безымянную для нас звезду с голубым мерцанием. Женечка в ту пору старательно ела, розовела, поправлялась. И весь тот ужас, что был, и тот, что предстоял, нам удавалось делить на всех. Мы сбивались в кучу, мы были заодно и держались друг друга. И Женечка в ту пору верила: мы поможем, мы справимся. Часто звучавшие вопросы: «А я выйду из больницы?», «Мамочка, ты меня не бросишь?», «Мамочка, ты всегда будешь моей мамочкой?» — были не проявлениями страха, а знаком доверия. И мы в ту пору окрепли, у нас были силы верить, говорить: «Ты здорова, ты выздоровела,

Женечка, просто надо закрепить результаты лечения». Женечка каким-то чудом сумела запасть и вручить нам новогодние подарки. Мы же подарили Женечке альбом Ван Гога и стеклянный подсвечник, приглянувшийся нам во время прогулки по Фрайбургу.

В канун Рождества нас навещает Ханс — Женечкин начальник. Показывая доверие или не желая потворствовать предрассудкам, Женечка встречает Ханса без парика. Он ежится, он вероятно, связывает Женечкину болезнь с приездом в Страсбург и не может не допустить, разумеется лишь мысленно, толики своей ответственности. Пытает нас, почему же мы отпустили Женечку из дома. Оправдывается, ссылаясь на то, что окончательный выбор из двух предложенных им кандидатур сделал вышестоящий начальник. Спрашивает Женечку, отчего она приехала в Страсбург. Женечка — насмешливо: «За женихами». Шокирует Ханса и этим как будто довольна. После обеда Женечка с Хансом поднимаются к замку. Ханс размашисто шагает, Женечка не без труда поспевает за ним, как будто проходит еще одно испытание.

С утра тридцать первого декабря мы совершили замечательную поездку к далекому прекрасному озеру, подъехали к подножью самой высокой в здешних краях снежной вершины. Новый год Женечка предлагала встретить в местном ресторанчике. Но одолевали сомнения. Приглашение наших хозяев — разделить с ними праздник — развеяли наши сомнения: конечно, по-домашнему лучше, теплее, добрее, уютнее. Для праздничного стола приготовили с Женечкой два вида салата, вместе с хозяевами и другими гостями вкусно ели, улыбались, и верили, верили; надрываясь, превозмогаясь, верили. И в новогодний час поднялись по нашей любимой дороге на гору. Вокруг разливалось шампанское, взлетали петарды, и все небо вспыхивало разноцветными огнями под всеобщее ликование. И отступал наш страх.

Несколько раз мы выходим на люди: идем на рождественскую службу в церковь, на концерт классической музыки в соседнем городе Оффенбурге, на праздничный рождественский вечер в местный спортивный зал. Мы привлекаем взгляды —

мы в облаке беды, стараемся закрыться, игнорировать любопытство и вопросы, но нам от этого еще тяжелее. Человеку, по которому проехал танк, верно, нет места среди нормальных людей. Должно быть, все одиноки, но он одинок иначе. Другая степень, другой разворот одиночества, его вынужденность, его монолитность... В таком одиночестве отсутствует примесь естественной природной безмятежности. Ей на смену может прийти или надсадный, себя не помнящий кураж, или беспамятное оцепенение.

Конечно, где-то на горизонте есть еще героизм, героизм одинок: что бы ни было, я могу. Но как до него дорасти?

...произнес эти слова..., как человек, решивший до конца представить себе размеры постигшей его беды и действовать с открытыми глазами...

Канун отъезда. Мы должны ехать в город и лечиться в больницу. Женечке предстоит пройти четвертый курс химиотерапии, на этот раз полный, без скидок на Женечкину особую чувствительность, и мы боимся, да, чего греха таить, боимся.

Шестого января 1998 года Женечка опять ложится в больницу. И, как говаривала потом Женечка, не было в ее больничном пребывании времени горше (сравнивала она, конечно, с предшествующими сроками). Отчего-то лежавшая рядом женщина, старательно вышивавшая затейливую салфетку и с доброй готовностью показывавшая ее желающим, по нашему общему признанию «милейшая» (Женечкино слово), находившая в себе силы опекать Женечку, была источником жесточайших Женечкиных мук. Уже тогда складывалась у Женечки потребность переносить муки в одиночестве, избегая взгляда, пусть даже и добрых, всепонимающих глаз. И всех наших соседок по палатам, породнившихся бедой и болью — участливых, сострадающих, мудрых, мужественных, отрешенных, всех их я хорошо помню. Помню, как хотелось обнять и поблагодарить их за принятую на себя муку. Иногда это удавалось наяву, а когда не смела, то обнимала мысленно. Общность беды разворачивала нас друг к другу пониманием, солидарностью, сочувствием, стойкостью, вызревшими за время болезни.

«Каждым деянием своего духа человек создает поле для некой новой силы» (Р. М. Рильке). И каждый больной и страдающий мог одарить тебя силой и мудростью, если ты мог этот дар принять, если ты был для этого дара открыт.

Тяжко пришлось Женечке: поднялась температура, многократно случались обмороки, падения при попытках встать с кровати. Однажды мне то ли приснилось, то ли привиделось

ночью, что у Женечки оборвалась подходящая к катетеру трубочка, и Женечку залило кровью. Так и случилось в ту ночь.

Однако выписывают нас в изначально намеченный срок, тридцатого января. Женечку выпускают с добрыми напутствиями, нам сулят в будущем только контроль. Ведущий врач доктор Мульвазель отмалчивается, но зато младший медицинский персонал нас поздравляет; похоже, они искренне верят в выздоровление. Женечка, радостно возбужденная предстоящей выпиской, говорит мне: «А теперь я буду тебя защищать». И позже: «Но ведь придется пройти через это еще раз». «Но, почему же?» — отвергаю я. «Ну, а как же, перед смертью». Это не кажется теперь невероятным, но таким далеким. И в ответ я бормочу, что болезнь побеждена, а смерть ведь бывает всякая и не обязательно такая мучительная. Но Женечка произнесла то, что произнесла, и мое бормотание оставила без внимания.

Как же Женечка умела оберегать, защищать на все лады, и в самом прямом смысле слова тоже. Однажды в прошлой жизни, в Москве, когда мы откуда-то возвращались вечером домой, перед нами внезапно возникла устрашающая фигура. Не успев опомниться, что-то предпринять, я в мгновение ока почувствовала, что Женечка оградила, заслонила меня от чьего-то злого умысла. И зловещая фигура отступила перед Женечкиной решимостью.

Женечка немножко растеряна, перед ней простирается ровное безучастное полотно свободного времени, словно минное поле неведомого размера. «Я умею только работать или лежать в больнице», — говорит Женечка.

К выходу из больницы дарим Женечке горящие всеми цветами радуги настольные часы из венецианского стекла с пожеланием «жить по солнечным часам». Они и сейчас не меркнут, светятся, ликуют, что-то толкуют нам, незрячим.

На следующий после выписки день едем в наш сказочный, занесенный снегом Дурбах. Поднимаемся к замку, начинаем выращивать (взрачивать) новую надежду.

Женечке предстоят занятия лечебной физкультурой, но через три недели мы вернемся сюда гулять, любоваться, читать, бездельничать, сладко спать.



Да и город нам сейчас в радость. Бредем по улицам вдоль каналов и чувствуем, признаем: да, вот оно счастье. Темная вода, фонари, свежесть воздуха, воля. Наша совместность, наша нежность. Мы признались друг другу, что думаем одинаково, так даже лучше: переболеть столь тяжело и выздороветь, и жить, цена всякие маленькие нежные прикосновения жизни.

Как-то раз Женинька впервые поднимается по узенькой винтовой лестнице на вершину кафедрального собора, радуется открывшемуся ей городу и самой радости.

В это время Женя пишет в Ленинград своей подруге Оле:

*Ольга, привет. Очень рада получить от тебя письмо. В моем ответе ты найдешь множество ошибок, так как я полгода ничего не писала, и все книжки читались мамой и папой вслух. Сейчас учусь ходить по городу, глядя не под ноги, а по сторонам. Я вышла из больницы две недели назад, и приблизительно через неделю собираемся поехать за город в надежде несколько протрезветь. По возвращении, через месяц—два будет более актуален адрес электронной почты, поскольку к тому времени я, вероятно, выйду на работу. Сейчас очень трудно преодолеть мое плачевное душевное состояние, так как каждый день приходится ездить в ту же больницу заниматься физкультурой.*

Три недели лечебной физкультуры. Ведущий занятия врач пытается нас приободрить. «Улыбайтесь, — призывает он нас, действительно разучившихся улыбаться, — перед вами широкие горизонты». А нам грезится наш Дурбах.

Пусть его потом изгнали из рая, но разве он загодя не был вознагражден за свою потерю?

Михаил Булгаков. *Мастер и Маргарита*

Двадцать первого февраля мы наконец-то опять в Дурбахе. Мы живем поначалу в том же домике в долине, окруженной холмами, поросшими виноградниками и лесами. Каждый день мы поднимаемся к замку, частенько ходим к хутору. Замок был виден и из наших окон, царил, звал, менял очертания, омывался дождями, нарождался из-под туманов. Он был сном, вымыслом, но и явью, иносказанием яви. При виде замка сам собой возникал вопрос: «Кто в замке король?» И однажды местная повелительница — как иначе сказать — предложила нам переехать в дом при замке. Наше смятение, радость и неверие в подобное чудо излились в смехе, мы изнемогали от смеха, мы пританцовывали. Господи, не дай мне забыть этот миг. Быть может, то было средоточием, сердцевиной жизни, чем-то истинно и единственно сбывшимся. Но переезд еще впереди. Пока же, до апреля, мы остаемся в нашем уютном домике.

Женечка пребывает в приподнятом настроении, в готовности любоваться и благоговеть перед жизнью. Наша бесконечная нежность. «Пойдем потолкаемся», — так это называлось. Мы обнимались так крепко, как только могли. Женечка обнимала меня тесно, нежно, сухими, как хворост, чистыми объятиями маленького ребенка.

— Мамсичик-к-к-к, — звала меня Женечка.

— Женюлюшичик-к-к-к, — отзывалась я.

— Я не знаю, что будет завтра, но сегодня я держу руку на твоей голове и счастлива, — говорила Женечка.

Каждый раз, когда мой взгляд заново открывал Женечку, я заходила от нежности: рождающаяся каждый миг головка, облик мудрейшей из новорожденных. Любимая, любимая, любимая.

Женечка читает «Иосифа и его братьев», а я радуюсь на нее, мирно читающую. Сопоставляет себя с Иосифом, из сопоставления выходит, что в «яме» придется побывать дважды. Часто зачитывает мне какие-то фрагменты. И с каждым днем как будто здоровеет, свежеет, наливается жизненными соками, начинает весело с удовольствием бегать. Личико округляется, на нем проступает румянец. Однажды Женечка неотрывно с восторгом в течении целого дня наблюдает, то сидя, то стоя у окна, за расшалившимися в винограднике зайцами. Она не стремится на улицу, ей достаточно видеть их из комнаты. Заливается смехом, постоянно зовет меня и взахлеб делится рассказами об их проделках, а потом по-детски сообщает мне: «Они делают зайчат». Неисчерпаемость, длительность этой радости сродни вырвавшейся на свободу боли.

Грядет переезд в дом на замковом холме. Обустройством новой квартиры занялась Женечка вместе с отцом, а я по обыкновению переживала разлуку с милым сердцу жильем, которое мы покидали. То была непростая квартира, холодная, накопившая одиночество, но запредельные виды из окон заполняли и возносили в воздух это жилище. И стояло в пустой квартире одинокое, печальное, ветхое и прекрасное кресло-качалка с плетеной спинкой и сидением из кожаных заплаток.

И вот Женечка сотворила, обустроила и наполнила, прежде всего собой, своим духом, еще одну квартиру. Из замка нам достались стол и стулья из благородного темного дерева. Из окрестных деревень Женечка с отцом привезли кровати. Переезжающие соседи подарили нам диван и кресла. С размахом и азартом мы закупили всякой домашней утвари. И сталиживать, трудно осваивая новое жилье, восторженно — открывшись нам новые лесные дороги.

Когда мы поселились на замковом холме, нас стали привлекать прогулки в долине. Именно тогда мы набрали на дорожку, тянувшуюся вдоль быстрой горной речушки среди цветущих в ту пору фруктовых садов. За изгородью деловито сновали пестрые куры. И вспомнилась как-то раз любимая Женечкой в детстве сказка про Алешу и Черную Курицу. С удовольствием рассказали ее друг другу, кто что помнил. Кроткие мостики

переводили нас с одного берега на другой, что мы и делали послушно, с радостью, и отрада простоты и легкости была в такой прогулке. Дорожка приводила нас к спрятавшейся в укромном месте гостинице, окруженной искусно разбитым садом. Крепко сбитая, надежная, казалось, она будет здесь стоять вечно. И опять подавала голос надежда, неистребимая надежда убежать от тревоги, укрыться от самих себя хотя бы в этом, задуманном на века доме. Однажды на такой прогулке нас застаёт ливень. Поначалу дождю радуемся, он шумный, живой, приобщающий нас к миру. Сначала пережидаем его под навесом, но начинаем зябнуть и забегаем в кондитерскую Мюллера, но денег с собой нет и расположиться в тепле и уюте мы не можем.

Раздумываем, не одолжить ли зонтик, но не решаемся. Бежим на свой холм под дождем, озорничаем, пряча тревогу, не простудится ли Женечка. На этот раз обошлось, добрый дождь нас омыл.

Неукоснительно, с заданной частотой, Женечка сдавала анализы крови. Напряжение не отпускало нас, и все-таки сколь могли, мы пытались освободиться от страха, обрести почву под ногами. Однажды, вернувшись с консультации, с безнадежно-горьким лицом Женечка произносит:

— Доктор Мульвазель не знает, будет у меня рецидив или нет.

Я еще немного смелая:

— Он не знает, зато мы знаем. Ты здорова, Женечка.

Нам казалось тогда, что залог выздоровления только в нашей вере в успех, только в ней, и мы гнали все звучащие внутри нас и извне призывы не успокаиваться, консультироваться, продолжать лечиться. Встреча с новым врачом, оценка им Женечкиного состояния, прогнозы, предложения — все это грозило нарушить наше неустойчивое равновесие. Ведь мы изнемогли от страха, от мук лечения, хотелось просто жить.

Женечке предстояло еще сдать костный мозг для сохранения его на случай возможного рецидива. Это была обычная плановая процедура, о которой нам сообщили при выписке из больницы, но отчего-то Женечкиному отцу пришлось приложить усилия для ее осуществления: искать соответствующего

врача-трансплантолога, напоминать ему о его же предписании, обговаривать с ним сроки. Врач предложил тогда постепенный набор необходимого количества костного мозга — ежедневно понемногу, в течение нескольких дней. Но что-то у него не получилось с установкой катетера, и у Женечки образовалась на этом месте огромная болезненная гематома. К ночи охваченные тревогой мы были вынуждены ехать в больницу — делать перевязку, а процедуру взятия костного мозга врачу пришлось заменить на одноразовую под общим наркозом. И еще два дня в конце апреля Женечка провела в больнице.

В начале мая, обсуждая с лечащим врачом свое состояние, Женечка интересуется его мнением о возможности ее выхода на работу. «Что же, может, так оно и лучше», — соглашается врач.

Виноградную косточку в теплую землю зарю,  
и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву...

Булат Окуджава

Десятого мая мы поздравляем друг друга с победой, поднимаем бокалы за победу. Одиннадцатого мая Женечка выходит на работу, пока что на полставки. В будние дни я поджидаю Женечку дома, сначала на обед, потом вечером после работы. Полставки для Женечки — просто удлинненный обеденный перерыв, когда после обеда Женечка может себе позволить полежать, подремать, расслабиться. В те дни я не могу нарадоваться на Женечкину расцветающую красу, постоянно вспыхивающий смех, озорную ребячливость, еще не покинувшую ее безмятежность. Хотя и тогда случались бури. На работе у Женечки за спиной появляются какие-то фигуры. Кто эти люди? Делят ли они с Женечкой работу или подстраховывают ее? Отчего никто не ставит Женечку в известность? И Женечка с ее прямой идет напролом.

Без дипломатического реверанса осведомляется у Ханса, каковы ее служебные обязанности, отчего Ханс не знакомит Женечку с новыми сотрудниками и какова его общая стратегия. «Ждете моей смерти», — домысливает Женечка.

Ханс шокирован — этому кругу прямота незнакома. Он пытается успокоить Женечку, даже приласкать, как ребенка, разъяснить свои умалчивания, загладить промах. Отчасти ему это удается. В тот день мы ждем Женечку у работы, собираясь отправиться в Дурбах. С задиристым видом появляется Женечка, смущенно улыбаясь, взбудораженная своей «озорной» выходкой, довольная разрешением беспокоившей ее ситуации.

В июле в Страсбурге проходит музыкальный фестиваль. Прошлым летом оркестром дирижировал сам Менухин, и мы имели счастье слушать Мастера.

Этим летом фестиваль носит имя Мастера, Менухин умер. Мы идем слушать Растроповича, его виолончель, ее печальный

завораживающий (чарующий) голос, пестующий нашу нежность, наше окаянство.

В ту пору восторгом, чудом был Дурбах, особенно при встрече с ним по пятницам или при прощании по понедельникам: встречный взгляд, прощальный взгляд. Дорога в Дурбах шла через фруктовые сады, справа открывался вид на наш холм и неясные очертания замка. Сады ворожили и пели. Подъем на холм, всегда неожиданно открывающиеся взору гряды волнистых холмов, поросших лесом, и чаши, укрытые виноградниками. Спуск с замкового холма — чудо немеркнувшей, вечно новой красоты, зачастую под пение любимого Женечкой Фрэнка Синатры. Это пение противоречило тональности нестерпимого в своей красоте пейзажа и вместе с тем сглаживало его нестерпимость, делало его более близким, доступным.

Я так часто говорю о дурбахской красоте, так часто мысленно совершаю паломничество в тот край: там наш последний — в неведении своей участи — поклон земной красоте. Именно там, под одной из сосен, зарыт клад с ответами на гложащие, терзающие, разрывающие вопросы. Дурбах, его красота — последний бесценный Женечкин подарок; здесь воплотившаяся на земле Женечкина сущность, ее дыхание, приволье ее души, полет ее духа, ее бессмертие.

И Женечкин день рождения мы отмечаем на веранде дурбахского замка. Мы дарим Женечке фотоаппарат. Накануне в Дурбах приезжала воодушевленная и воодушевляющая Энн с подругой. Она подарила Женечке книгу Гибрана «Пророк», надписав так: «Евгении, с первым днем рождения в ее новой жизни».

Новым фотоаппаратом Женечка сделала три серии снимков. Запечатлела в одинокой прогулке в сторону часовенки картины Дурбаха, восхищавшие Женечку прячущейся и зовущей открыть себя красотой. Другая серия — фотографии городов, по которым мы ездили «галопом по Европам», воодушевляемые и побуждаемые Женечкой. Брюгге, Фрайбург, Берн, Цюрих, Базель. И фотопортреты родных. К этим снимкам, помнится, Женечка и мы все долго готовились, «мыли шею», выстраивали задуманные Женечкой композиции.

Женечка для пущей выразительности сделала мне легкий макияж. И вправду, хорошие получились фотографии самой Женечки, отца, гостившей у нас в ту пору ее тети Лоры — портреты групповые и каждого из нас. Во мне, быть может, впервые, проглянула мамина красота — так Женечка нас с мамой объединила своей любовью.

Цвели каштаны, сирень, жасмин, шиповник, по-особому родственные полевые цветы. Наливалась соком виноградная лоза. Нас радовали белки, зайцы, косули, птицы. В нашей жизни было мало людей и очень много птиц — стремительных, неторопливых, застенчивых, красующихся, деловитых, величественных, юрких. Особенно пристальны мы были к уже знакомым, к тем, которых знали по именам.

Мы не прочь были познакомиться и с другими: листали подаренный Энн определитель птиц, но сведений не извлекали, по детски рассматривали красочные картинки. В Дурбахе то были парящие высоко над холмами ястребы, голосистые звонкие дрозды, стрижи и ласточки, чьи гнезда располагались над нашими окнами, таинственные совы, бесцеремонные вороны, яркие дятлы. Особое нежное внимание и благодарность вызывали дрозды (дроздики, как называла их Женечка) за их открытость, веселую песню, ненавязчивое доброе присутствие. Они не улетали от нас, были рядом. По вечерам мы крались к соседнему дому и караулили сову, что с уханьем прилетала к своим птенцам. В памяти осталось темнеющее небо, тонкий, словно нарисованный месяц и обращенный к нам удивленный взгляд совы.

Нет, души совсем не отличны от птиц,  
Когда говорят друг с другом,  
И птицы, когда говорят,  
Ничем не отличны от душ.  
Там, где людям нужно  
Великое множество слов,  
Птицам хватает лишь нескольких звуков  
Разных только по устремленности,  
Разных только по силе.

Г. Экелеф



Наши прогулки удлинились, мы открывали новые и новые прекрасные виды.

Мы бредем по знакомой лесной тропинке, ведущей к замку, а вокруг так много других, зовущих. Они вьются, манят развилками, словно ветви деревьев. Их близость, их сопричастность нам, их желание быть внятными и наша благодарная растерянность перед их манящей, убегающей вдаль ветвистостью. Началась грибная пора, пошли все больше лисички, маслята и маховики. Женечка с азартом карабкалась по лесистым склонам вдоль дороги, срезала грибы осторожно, стараясь не повредить грибницу. Дома отбирала и чистила с особым старанием, да и ела с явным удовольствием. И новое чудо: поспела черешня в невиданном изобилии, ее можно рвать и лакомиться сколько душе угодно. В то лето я загадала пережить еще один урожай черешни, а больше, следующим летом, уже не загадывала, не могла — ужас перечеркивал видение будущего.

Мы постоянно искали радугу, видя в ней знак спасения. Прошел дождь, выглянуло солнце, мы ждем, и вот она — радуга через все небо. Мы протягиваем к ней руки, радуемся.

Женечка нередко ходит гулять в лес одна. И неожиданно горько и лукаво объясняет: «Я хожу по лесу и разговариваю, мне ведь, так же как и тебе, не хватает разговоров».

Внизу в Дурбахе живет большая семья русских немцев. Валя и Витя, их дети — Ваня и Саша, и Витины родители — пенсионеры Иван Алексеевич и Татьяна Егоровна. Хрупкая и кроткая Валя работает в цветочном магазине в Дурбахе, деликатный Витя — рабочим на стройке. Бабушка и дедушка хлопочут по дому. Женечка и отец познакомились с ними раньше, уже бывали в гостях.

Вскоре они через нашего соседа Мартина по телефону приглашают нас на воскресный обед, и мы охотно идем. У них большая квартира, большая кухня, по-домашнему уютно. Нас гостеприимно потчуют разносолами, пельменями. Женечка открыта, с удовольствием разговаривает со всеми, особенно с младшим мальчиком, улыбчивым Ваней. Старший выглядел солидно и безразлично, наверное, его тянуло на улицу играть в футбол, а младшему скучно не было, ему все было забавно:

и с нами разговаривать, и с братом переписываться, и отцу улыбаться. Женщины показывают нам свой аккуратный огород, где вошло все, что посажено, а мужчины — видеозапись: их пустое село в Казахстане, оставленный дом. Витя все осведомляется, не скучно ли нам смотреть, не надоело ли. Нам понятна, близка их боль. Женечка долго не может прийти в себя от этой будто бы чужой, а оказывается, общей боли. В другой раз Валя и Витя с мальчиками приезжают к нам наверх проведать: «Что-то вас давно не видно». Сидим в большой комнате, мальчики едят кекс, с интересом поглядывают на компьютер. Нам приятно их внимание, нам хорошо с ними. К сожалению, семья эта скоро переезжает в Оффенбург. Женечка размышляет, не снять ли их большую квартиру, где стоек человеческий дух, и не поселиться ли окончательно в Дурбахе.

Окрепнув, Женечка начинает бегать по лесным дорогам, играть в теннис с отцом и Энн, берет несколько уроков тенниса и пишет по этому поводу подруге Наташе:

*У меня с прошлой пятницы появился потрясающий — рыжий и веснушчатый, что немаловажно — тренер в Дурбахе, в результате чего мое теннисное усердие уже почти неделю как удвоилось.*

Изредка ходим в бассейн. Бродим по лесным дорогам, напевая «Виноградную косточку в теплую землю зарюю...» или «Ты у меня одна». Эту песенку Визбора Женечка учит меня петь на два голоса.

Часто по вечерам, когда стемнеет, мы ходим на веранду замка с бутылкой местного красного вина и стаканами в карманах. Неторопливо пьем вино, любимся гаснущей полоской заката, зарницами и всходящей над сосновой рощей желтой луной.

Темнело. Стаи летучих мышей, дотоле невиданных, устрашающе таинственных, рассекали воздух. Мы возвращались домой. Теплый вечер дышал в окно. Огоньки далеких домов, взобравшихся на окружающие нас холмы, расплескивали темноту, а наши настольные лампы, облепленные ночными бабочками, очерчивали вокруг волшебные круги, ограждающие нас

от тревоги. Внезапно резко вспыхивали зеленоватым светом ветви деревьев, разгораясь от прожекторов, поднимающихся на замковый холм машин. «Кто бы это мог быть в столь поздний час?» — гадали мы с Женечкой.

Мной правят птицы и раскаты грома.

Иоганн Вольфганг Гёте

Несколько раз за лето выезжаем в другие города. Особенно памятна поездка в Гейдельберг. Гейдельберг был для нас не просто прекрасным городом. Здесь Женечка мечтала учиться на социологическом факультете, знаменитом своей школой. Не сейчас, конечно, а со временем: взять длительный отпуск на работе (такое возможно) и поступить в здешнюю аспирантуру. И вот мы поездом едем в Гейдельберг. На трамвае едем не в ту сторону, заезжаем в незнакомый, безликий район. Стараемся не падать духом, возвращаемся и выходим из трамвая возле поднимающейся вверх обрамленной зеленью дороги («заветной философской тропе»), вдоль которой стоят исследовательские корпуса. Шагаем воодушевленно в гору, день мягкий, теплый со свежим ветерком. Женечка открыта впечатлениям, ласкова, красива. Долго отдыхаем на смотровой площадке, почему-то на нас поглядывают. Должно быть, в нашем душевном подъеме есть что-то необычайное. Мы смотрим на панораму города и вглубь себя, мы чувствуем друг друга, мы вместе. Спускаемся по крутой тропинке, мощенной выпуклым скользким булыжником, и оказываемся в нарядном центре города. Здесь обедаем в уличном кафе. Заходим в университетскую книжную лавку, листаем замечательные философские книги, встречая знакомые имена. Покупать не решаемся — оставляем на потом. На университетском здании вывеска — «Летние курсы». Загадываем как программу-минимум на следующее лето выхлопотать на работе поездку сюда — изучать немецкий язык. Случайно набредаем на библиотеку, знаменитую гейдельбергскую университетскую библиотеку. Женечка заходит внутрь, а я остаюсь поджидать на улице.

Добрый, почти безмятежный день дорог чьим-то вниманием, запечатлевшим нашу совместность, отчего-то и это важно.

За эти годы, за долгие пребывания и короткие наезды, я был здесь, по-моему, счастлив и несчастлив примерно в равной мере. Счастье и горе просто навещали, хотя иногда оставались и после меня, словно прислуга. Я давно пришел к выводу, что не превращать свою эмоциональную жизнь в пищу — это добродетель.

Иосиф Бродский. *Набережная неисцелимых*

Женечка: «Я — дроздик, я — дроздик. Мама, скажи что делать-то, что делать?» — обычно после сна, ребячливо, убегая из сегодняшнего дня в безмятежность детства. То были светлые месяцы: март, апрель, май, июнь, июль. То были горькие месяцы.

Вот что сама Женечка пишет в это время своим друзьям.

Из письма доктору Шкловскому:

*...Удивительно, что так долго пишу Вам письмо. На какую тему? Медицинскую? Философскую? Стесняюсь обеих. Чувствую себя хорошо, жаловаться не на что, хвастаться боюсь из соображений предрассудковых.*

*Весь прошедший год посвящен размышлениям о том, как надо жить и как жить дальше. Подозреваю, что хотя бы извилин в мозгу несколько прибавилось, так как количество седых волос увеличилось лишь на два; незнакомые люди на работе дают пятнадцать с половиной, принимая за дочь подруги, а кассир при входе в бассейн недавно спросила, есть ли уже шестнадцать, решив продать билет подешевле. Судя по записи в паспорте, мне двадцать шесть. Поэтому на внешнем виде год усиленной мыслительной деятельности отразился скорее как регресс.*

*В последнее время крепко полюбилась книга под названием «Иосиф и его братья», пленительная, конечно, не только своим сюжетом, но сюжетом в особенности. Ее герой на рубеже первого и второго томов пересматривает свои ценности, ставя их с головы на ноги (аналогично, надеюсь), правда, на все про все у него*

уходит всего трое суток, но и те времена — он жил задолго до РХ — думается, были не столь переполнены искушениями. Откровенно, это одна из очень немногих книг, осиленных за последнее время. Интересный и грустный феномен: количеством воли, ушедшим на то, чтобы поправиться, похоже исчерпались все имевшиеся запасы. Это подтверждается не только чтением, точнее нечтением, но и тотальной неграмотностью, с которой Вы обязательно здесь столкнетесь. Пребывание в реанимации вымыло из меня и русскую, и английскую грамматику, делаю смехотворные ошибки, которые вылавливаются spell checkом по-английски, но не по-русски. А воли на то, чтобы перечитать правила, как раз и нет. Несмотря на мой продолжительный и мучительный мыслительный процесс, главный вопрос остался непонятым: по-большому счету, свобода есть?? Больше импонирует полный фатализм, но сомнения возникают все регулярней...

Из письма Оле Митрениной:

...вся жизнь беспощадно раскололась минимум на три куска — 25 лет до болезни, почти год самой болезни (эдакие романтизм и просвещение) и наступивший недавно модернизм. Попытки их склеить пока не кажутся удачными. Если это когда-нибудь произойдет, тот период можно будет назвать современностью. На сегодняшний день все желания сводятся к одному — протянуть как можно дольше — тот редкий случай, когда количество, я верю, переходит в качество; амбиции отсутствуют полностью; шум ливня, перекликающийся с пением дрозда, буйно зеленеющий в окне грецкий орех с множеством плодов и холмы в виноградниках приводят в состояние трепетного восторга. Наверное, это банальность, видеть в природе целителя, но для меня это открытие, а не штамп. Кругом все интересно, в первую очередь цветоводство, астрономия и орнитология. Но предваряются они обязательными оздоровительными процедурами, такими как плотное вегетарианское питание и двухкилометровые пробежки, являющиеся, на мой взгляд, залогом столь желанного долголетия. В таком духе жизнеутверждающей философии я могу продолжать долго.

Еще один фрагмент из письма Наташе Бражниковой:

*Неужели для того, чтобы полюбить город, надо из него уехать, чтобы начать дорожить жизнью, надо ее почти потерять, чтобы зауважать работу — получить на несколько месяцев отпуск, чтобы оценить природу — годами жить в городе, проводя выходные в библиотеке или на диване, а отпуск не брать вообще...*

Из письма бабушке:

*Здравствуй, бабушка, жаль что предыдущее письмо не дошло, попробую еще раз. Кто не рискует, тот...*

*Заканчивается мой продолжительный отпуск-бюллетень. За отчетное время я приобрела следующие специальности. Парикмахер. Папа пострижен три раза. Каждый раз стрижка была все радикальнее (короче), что не значит кривее. Можно сказать, что наши прически стремятся постепенно сравняться, как две машины из учебника математики, которые выходят навстречу друг другу из пунктов А и В. Мама пострижена один раз, мама в отношении волос очень покладиста — когда отрастают, носит хвост. Кулинар. Первым опытом был пасхальный кулич. Все делалось строго по книге о вкусной и здоровой пище. Но тесто не поднялось. Последовавшая тщательная разборка показала, что была использована какая-то чрезвычайно нестандартная мука, вдобавок черного цвета. Мораль: семь раз отмерь, один раз купи. За куличем последовали бананово-финиковые булочки и пирог с ревенем. Надеюсь, это только начало.*

*Все сделала, как ты велел вчера по телефону; погладила «костюмчик», чтобы выглядеть как «настоящая западная дама», — так это у тебя называется? Теперь важно не расплакаться в самый ответственный момент от переизбытка чувств.*

*Как Переделкино? Сколько собак живет на главном крыльце? С кем сидишь за столом?*

*Будь здоров, привет от родителей.*

Сталь существует для того, чтобы выдерживать давление.

Торнтон Уайлдер

Шестого августа на очередной консультации доктор Мульвальель сказал Женечке: «Через полтора года Вы будете считаться здоровой». Эти, казалось бы, обнадеживающие слова, надорвали Женечкин душевный подъем. Они прервали движение к выздоровлению и опустошили.

С сентября 1998 года Женечка выходит на работу на полный рабочий день. Пытается справиться с ощущением аутсайдера, изгоя. Женечка изменилась, а жизнь оставалась той же, не воздавала за перенесенные страдания, а словно еще пуще наказывала за них человеческой жестокостью.

Женечкина самодостаточность изглодана болезнью, муками. Женечка восстановится, воспрянет, только ей надо помочь, хоть немного помочь. Голой души можно касаться только с лаской, нежностью, любовью. Возможно ли это? Взоры и касания чаще пытливы или равнодушны. Помнится, Женечка говорила, что одна улыбка, обращенная к ней, способна осветить весь день.

Но улыбки случаются не часто. И начинается новая попытка, попытка жесточайшим одиночеством, не добровольным, ищущим глубины, а вынужденным, подпольным. Женечка возвращается с работы с измученным и ожесточенным лицом, часто рыдает, упав на кровать. Когда я звонила из Дурбаха и спрашивала Женечку, как она провела вчерашний вечер, обычно слышала: «Ничего не делала. Спать легла в половине девятого».

Нет, Женечка не склонна сдаваться, она воссоздает московский образ жизни: работа, библиотека. Вот что она пишет об этом в письме доктору Шкловскому:

*Стихотворение прочту и отправлю с удовольствием, как только найду, найду, когда дойду до библиотеки, дойду до библиотеки, когда пройдет насморк. Поход, надо сказать, будет плановый. Недавно я вернулась к своему излюбленному*



занятию — походам в библиотеку. Вам знакомо такое времяпрепровождение? У меня оно было основным восемь(!) лет: пять — учебы, ежевечерне, обычно вторые половины семестров, три — вечерами после работы, приурочивалось преимущественно к аттестациям в аспирантуре.

Географически, Иностранка расположена удобнее: возвращения домой по бульварам (до сих пор восхищаюсь тем фактом, что мы соседи, мы живем в доме семь на Чистых прудах), но у Ленинки фонд много больше...

Как-то приносит домой книгу Фолкнера «Как я умирала» — не знаю, прочла ли ее Женечка. Начинает посещать языковые курсы, берет уроки в автошколе.

Женечка нашла другую квартиру: с прежней хотелось бежать, столько она вобрала в себя беды. Предстоял переезд. Для обустройства и покупки необходимых шкафов Женечка берет в банке кредит, а мне объясняет: «Если не погасив долга, я умру, то, чтобы вы знали, за меня будет выплачена страховка». Я взвиваюсь, но не нахожу, что ответить.

Новая квартира Женечку радовала. Сомнений не было, квартира хороша, просторна, удобна, и так чудесно расположена — совсем рядом с парком Оранжери, рядом с работой. Вокруг дома сад: фруктовые деревья, чудесная, необыкновенно густая ель, кусты роз. Из окон видны синие горы — это наш Шварцвальд, исполинские деревья парка, красные черепичные крыши, на трубах которых часто греются аисты, доверчиво открывая нам свою жизнь и при этом оставаясь добрыми волшебными существами.

В Женечке рождается новое понимание своих стремлений и ценностей.

Вот что она пишет Паше:

*...Иосиф прерван в самом начале второго тома, но надолго откладывать не хочу, слишком символична была предыдущая пауза. Напоминаю сюжет. Иосиф родился одиннадцатым сыном, но получил первородство, поскольку пользовался особенной любовью своего отца. Однако не видел в этом ничего чрезвычай-*

ного, так как упивался чувством собственного превосходства, которым без излишнего стеснения делился с братьями, до тех пор, пока братья в очередном приступе ревности не ушли из дома на расстояние нескольких дней пути пасты стада Иакова. Когда Иаков надумал вернуть сыновей, он снарядил в путь Иосифа. Последний, добравшись до братьев, был жестоко ими избит и сброшен погибать в некий высохший колодец, где пролежал три дня и три ночи, прощаясь с жизнью и страдая от физических недомоганий, а в промежутках «пересматривая ценности», до тех пор, пока случайно проходивший мимо караван его не спас. В частности, в колодеце ему открылось, что он глубоко заблуждался, считая, что окружающие его безусловно любят, и небрежно относясь к братьям. Настолько глубоким показалось ему это заблуждение, что по спасению он не решился возвращаться к отцу, а восприняв спасение как новое рождение, проследовал мимо Иакова дома в чужую Египетскую землю.

Как данный пересказ библейской истории, изложенной Манном?

Женечка говаривала, что она ничего больше не будет очень сильно хотеть, не будет стремиться ни к каким конкурсам и рекордам, у нее нет больше никаких амбиций, и не влекут ее никакие ристалища. Она хочет любить близких и ищет тишины. Как если бы, оглядываясь назад, Женечка видела, что ее желания вступали в неравную борьбу с судьбой, борьбу, заведомо обреченную на поражение. А может быть, Женечка обнаружила, осознала в себе вместе с яростной жаждой жизни и платоновское ощущение мироздания: «Ничто из человеческих дел не заслуживает особых страданий, и мудрость заключается в самоотрицании и самоотказе». Недаром Женечка оспаривала слова подруги, утверждавшей, что смысл жизни состоит в том, чтобы оставить след на земле. Женечке ближе цветаевское отношение к жизни:

А может, лучшая победа  
Над временем и тяготеньем —  
Пройти, чтоб не оставить следа,  
Пройти, чтоб не оставить тени

На стенах...  
Может быть — отказом  
Взять? Вычеркнуться из зеркал?  
Так: Лермонтовым по Кавказу  
Прокрасться, не встревожив скал.

А может — лучшая потеха  
Перстом Себастьяна Баха  
Органного не тронуть эха?  
Распасться. Не оставив праха

На урну...  
Может быть — обманом  
Взять? Выписаться из широт?  
Так: Временем как океаном  
Прокрасться, не встревожив вод...

...И никого не защитила  
 Вдали обещанная встреча,  
 И никого не защитила  
 Рука, зовущая вдали.  
 С любимыми не расставайтесь!  
 С любимыми не расставайтесь!  
 С любимыми не расставайтесь!  
 Всею кровью прорастайте в них.  
 И каждый раз на век прощайтесь!  
 И каждый раз на век прощайтесь!  
 И каждый раз на век прощайтесь!  
 Когда уходите на миг!

А. Кочетов

В это время Женечка живет в Страсбурге большей частью одна. Мы с отцом лишь завозим продукты, и я что-нибудь готовлю впрок. Присутствие родителей в эту пору тяготит Женечку, как если бы оно означало ее зависимость, неумение обходиться без них. Оно мешает утвердиться в самостоятельности, обрести волю, располагать собой безгранично. Живя той осенью в Дурбахе, спускаюсь с холма к телефонной будке услышать Женечкин голос, распознать ее настроение, приласкать, утешить, ободрить, ободриться самой.

Случается, кто-то осторожно и вопросительно окликает Женечку. И Женечка как будто готова откликнуться. Женечка учится быть терпеливой, она понимает: приближаться к ней страшновато, надо, чтобы отпал ярлык болезни, надо прятать надрыв, не брать слишком высоких нот, не делать «резких движений».

Нечаянно Женечку настигает радость — поездка в Париж со старым приятелем Жекой, жившим когда-то в Ленинграде, а теперь переехавшим в Америку. «Как жить хорошо, я такая добрая!» — отзывается Женечка.

— Представляешь, мама, как здорово, ведь можно будет говорить, говорить, — не нарадуется Женечка.

Женечка тщательно подбирает костюм к поездке, немного хмурится, стесняясь этого, а потом, не умея и не считая нужным ничего скрывать, объясняет:

— Ведь Жека будет фотографировать и фотографии пошлет в Ленинград Паше. Неизвестно, как долго будут храниться эти фотографии у Паши; может, всегда.

О Женечке и Паше говорить невозможно, начинаю плакать и колотиться еще пуще. С Пашиного разрешения привожу фрагменты Женечкиных писем.

*Пашечка, я была бы рада написать тебе достойное письмо в ответ, но сейчас окажется, что это невозможно, и известно почему: признаюсь тебе, что мне надо мучиться зверски, чтобы получилось что-нибудь толковое. Хотя я люблю, и не меньше, а больше, когда происходят чудеса, безо всяких стараний, а только молитвами и обязательно неожиданно, так что можно только радоваться взахлеб. Как, например, наша история, вернее ее продолжение после перерыва, и даже не оно, а каждое твое появление. Двух лет хватило, чтобы я почти перестала надеяться, и тем сильнее была радость, когда ты приехал, и она не слабеет, по мере того, как звонит телефон, поскольку привыкнуть к твоей благосклонности теперь, увы, я не в силах. А в промежутках твое любимое «я так один» или «нет одиночества больше, чем память о чуде» — что то же самое.*

*Я помню прекрасно все подробности нашей тогдашней встречи, — конечно, я переживала настоящее событие. И как ты первый раз открыл рот, усадив нас пить чай у себя дома, и как мы шли в тот же вечер втроем по Каналу уже к себе, и ты рассуждал о цветовых эффектах неба над собственным городом (я не могла вспомнить тогда ничего о московском небе, это был полный идиотизм: все помнят все цвета неба над своим городом), и все взгляды, и то самое знаменитое ощущение сквозняка под ребрами, и прощание. Я много думала о тебе все это время. Такие встречи случаются редко, и я бережно храню о них память. Еще не знаю, зачем ты приехал на этот раз, но догадываюсь, что произошло новое чудо, и приятно, что вместе с ним появилась возможность во всем признаться.*

*Я начала письмо до Нового года (несколько строчек); тогда у меня не было елки, теперь она есть — маленькая ароматная красавица, похожая на птицу, с привязанными к ней сосновыми шишками, нелепо, но если не быть ботаническим педантом, то смириться можно. Она — единственное, что напоминает о празднике (любимом празднике), потому что настоящего новогоднего настроения нет. Наверно, у вас в Ленинграде по-другому.*

*Ты, кажется, не хотел больше писать мне. Поэтому я не жду ответа.*

*Паша, я не знаю, как ты отличаешь декабрь от января и различаешь ли их вообще (ну, конечно, конечно различаешь), для меня не существует двух более контрастных соседних месяцев. В декабре праздник; это не означает, что в декабре веселье — праздник может быть грустным, но благодаря ему все события торжественны и каждое знаменательно, и им не только раздается смысл, — самые безобразные облагораживаются, самые трагичные возвеличиваются, их в декабре проще пережить. Декабрь — универсальный, январь — пустой. По цвету декабрь — черный с желтыми огнями, январь — белый. Все хоть сколько-нибудь замечательное, относящееся к январю, темнее этой белизны, поэтому с январем быть бы поосторожнее, чтобы не перепачкать, не дай бог.*

*По-моему, идея критиковать трогательные и беззащитные, абсолютно искренние девичьи письма отвратительна. Во-первых, злой критик по-другому называется палачом. Кроме того, это крайне неэстетично. Проглоти, Паша, все мои недостатки, закуси губу и подумай о несовершенстве мира, но недолго, Пашечка, и не делись ни с кем своими мрачными мыслями, они всем знакомы и без твоей подсказки. <...> Вот видишь, я не успела дописать, а кротость моя уже вернулась. Тем лучше — я успела по ней соскучиться.*

Паши, я обещала написать тебе про стихи. Например, что хорошие или что понравились. Слава Богу, ни то, ни другое. Ты скажешь, что это проявление материнских чувств, потому что и они и все, что я с ними связываю, делают меня гордой. Эта гордость в первую очередь именно интуитивная, так как скорость, с которой я через них продираюсь, и их понимание весьма скромны, будучи естественным образом ограничены моими умственными способностями. Я надеюсь, что она станет более осознанной по мере того, как я буду бороться со своим невежеством. А пока мое трепетное к ним отношение помогает мне полюбить их крепко, что уже произошло с некоторыми и, все к этому идет, произойдет с остальными.

Майский воскресный вечер; она, всеми покинутая, отправляется одна-одиношенька бродить по городу и забредает на выставку; там ее видит он, начинает неотступно преследовать; она уже обратила на него внимание, но он ей ни капельки не нравится, напротив, даже раздражает; она сердита на весь мир, ходит, шаркая, сутулая, хмурая, кусая губу; наконец, он решается подойти... Все как в плохом кино. Но несколько месяцев подряд я была им увлечена, хотя довольно вяло. Эдакий бразильский дипломат, который после учебы был послан на 3 года с «миссией» в NY, но после страны категории «А» в страну категории «А» не попадешь, поэтому мы и встретились в Москве. Обаятельный красавец, обаятельный несмотря на то, что улыбался одними глазами, полноценная улыбка была недопустимой роскошью, признав меня в первый вечер, он уже со второй встречи стал смотреть на меня с бесконечным удивлением. Я дурачилась неустанно, а как еще я могла себя вести с этим экзотическим экземплярком, стопроцентной флегмой, которая не в пример другим флегмам, могла говорить часами, причем профессионально, и которая оживилась только раз, случайно услышав родной латиноамериканский напев. Все кончилось тем, что он так и не перестал мне удивляться, а мне надоело преодолевать его замкнутость. Точнее, ничем не кончилось, так как и не началось ничто, как будто встретились случайно взглядами,

*а потом ходили друг за другом по улицам, заходя в одни и те же магазины и кафе, отдыхая на одних и тех же скамейках, но руководило нами не что-то необыкновенное, не любовь, а, наоборот, самое тривиальное, сугубо психологическое, — возможно, какое-то чувство причастности, не знаю к чему, наверно, ко всему. Потом пришло время возвращаться домой. А на следующий день мы обходили все те же места, но уже безотносительно друг друга. А спустя еще немного, я как раз и прочитала у классика про него: «...в своих пиджаках, и галстуках, и белых рубашках, оттеняющих их напряженные шоколадные мордочки. Не люди, а какая-то помесь обезьяны и попугая». И поскольку некоторая досада на несбыточность некоторых желаний все же присутствовала, то она и развеялась, тем более, что подобным классикам я давно приучилась верить.*

*Пора отправлять тебе письмо и, наконец, читать твое. Только все же, что странного ты нашел в моем металлическом голосе? Все так понятно! Из-за невозможности видеть тебя, когда хочется, нарушать твое пространство, отвлекать твое внимание от всего, кроме себя самой, очень хочется отстраниться от всего, что с нами было, и заполучить все завершённым, цельным, время от времени раскладывать все на ладони и рассматривать со всех сторон, а потом прятать в сундучок. Нормальное желание невротички — закончить эту историю, растянутую во времени и не насыщенную в пространстве.*

*Вдобавок ко всему новая напасть. Если раньше новое время суток и новое время года, когда они появлялись неожиданно и могли быть узнаны по соответствующим запахам, звукам или освещению, и вызывали определенные воспоминания или ассоциации, хотя и были волнительны, они были весьма ограничены, с годами их накопилась целая бездна, и теперь, пронаблюдая в феврале два летних запаха, под их тяжестью я совершенно отчетливо ощутила, как у меня сильнее искривился позвоночник, я уже не сутулая, а почти горбатая, хотя ноги до сих пор переставляю довольно шустро.*



*По остальным поводам я пожалуюсь тебе при встрече, а пока ужасно любопытно прочитать, что произошло с тех пор, как она, навестив его в Укбаре, вернулась в свой Глен к идеализму и чистым поступкам, в мир, лишенный существительных.*

*Во дворе льет дождь, как, наверно, тогда лил, когда ты сидел в моем вонючем подъезде летом. Но там нет ни башни, ни облака-озера, — один платан (платаны совсем не такие), висящий на фонаре. Мне виднее, слишком скромный у меня двор, чтобы вмещать такие роскошества. В нем есть место только детям, играющим в кошки-мышки. Я до сих пор маюсь в центре круга эдакой взъерошенной мышью в растрепанных чувствах, кот давно про меня забыл, у спасителей-хранителей руки устали, но они из упрямства не уходят: один, раскрыв рот, поит нас с Симой чаем, другой стоит перед моей квартирой вместе в корешами и Жекой в их числе, бледный, как смерть, ест в Стрельне мороженые яблоки, спит, уткнувшись в мой затылок, редактирует моего Гоффмана. <...>*

*Скорее, следовательно, у меня есть мои башня, озеро, облако в виде Исаакия, дыма от Союза-Аполлона и, например, Невы. Так что жду, когда ты меня отпустишь. Вспомнила еще, что проводила тебя летом домой, сходила на Матисса, а потом ждала начала фильма «Коровы» в Новороссийске, пыталась тщетно — изобразить твою физиономию на куске оберточной бумаги, видишь есть у меня твои портреты, хотя нет фотографии.*

Теперь представим себе абсолютную пустоту. Место без времени. Собственно воздух. В ту, в другую и третью сторону. Просто Мекка воздуха. Кислород, водород. И в нем мелко подергивается день за днем одинокое веко.

Иосиф Бродский

Женечкины костюмы, застигнутые врасплох. Вот они в шкафу, как лоскутья ободранной кожи. Смотрю на них, перебираю, зарываюсь в них лицом, вдыхаю родной запах, ничего не понимаю. Я помню, в какой день, по какому поводу, с каким настроением они надевались, как соответствовали Женечкиному облику или меняли его. В карманчиках, обычно левых, лежат проездные билеты, иногда деловые записки. Говорят, одежду надо раздать — легче будет.

Зачем мне легкость? Мне счастье, мне мука: кружить по квартире, перебирать, касаться, трогать... Записные книжки, иногда в них натыкаешься на выписанные Женечкой строки... Тетради с конспектами по теме Женечкиной будущей диссертации... Книги, привезенные из Москвы и полученные позже в подарок, иногда с закладками на каком-то важном для Женечки месте, иногда в них открытка с видом какого-то города, билетик на метро или на поезд. Тогда можно сообразить, когда Женечка эту книгу читала. Книги, раскрытые на той или иной странице, книги, которые Женечка прочитала и поделилась с кем-то особенно важным, книги не прочитанные, ждущие своего часа... Энциклопедии, справочники, словари, путеводители, рабочие дневники... Письма, посланные Женечкой друзьям и подаренные мне в копиях, фотографии, Женечкины и важных в ее жизни и любимых ею людей...

Красная тумбочка, облюбованная и приобретенная Женечкой будто в награду себе за муку в период между второй и третьей «химией»... Любимое кресло у окна, откуда видны черепичные крыши и аисты... Кровать, нежившая Женечкин сон,

на которой она умирала... Картины, будоражащие потоками излучаемого света, — на них возлагались ожидания помощи и поддержки... Медицинские папки с результатами анализов, выписками из больницы, перепиской с врачами... Ящик, полный лекарств... Уютные пледы, синего и терракотового цвета, диванные подушки, рыжая бархатная и рыжевато-зеленая с орнаментом в турецкий огурец, таких же цветовых сочетаний покрывала на кровати и кресле... Кухонная утварь (последняя Женечкина покупка, принесенная с рынка, — ложечка для заварки чая), посуда: две главные кружки для ежедневного морковно-свекольного сока: одна — синяя, из Дурбаха, другая — зеленая, страсбургская... Зубная щетка, баночки с кремом, шампуни, духи, заколки, шкатулка с украшениями. Гибкие домашние тапочки, живой негой облегающие ножку. Почему они всегда так пугали хрупкостью, обреченностью, неопровержимостью гибели. Их неподвижность, застылость в сброшенной с ноги позе, только что бывшая движением. Все казалось, они остановились навсегда в своем последнем движении... И та заповедная шкатулка, а на вид обычная, с пуговицами, иголками, нитками. После долгого-долгого перерыва я отправилась в нее за нитками и иголками. В шкатулке был порядок, Женечкин порядок, а на дне лежала малюсенькая глиняная фигурка. Я не сразу поняла, что это, и вдруг осенило, вспомнила. Мы по какому-то поводу ели пирог с сюрпризом, постарались, чтобы сюрприз достался Женечке — то была крошечная фигурка старушки. Я тогда выкрикнула эдак запросто: «Быть тебе, Женечка, бабушкой», — порадовавшись своей находчивости. Сейчас нестерпимо больно.

Больно вдвойне от того, что поспешила своими словами обозначить такое естественное, а для нас мало достижимое и невероятно желанное — быть бабушкой, и от того, что вовсе не суеверная Женечка эту фигурку, увидев в ней талисман, оберег, сохранила, бережно уложив на дно шкатулки. Кружишь по этому Женечкиному земному пространству, обнимаешь все целиком, проводишь руками по корешкам книг, берешь в руки, обнимаешь какую-нибудь маленькую «штучку», застываешь, вспоротая воспоминанием — вспоминаешь, вспоминаешь, вспоминаешь.

«Ни печали, ни страха не надо, если в Вас нет ничего общего с другими людьми, будьте ближе к вещам, и они вас не покинут... — говорит Рильке. — Все ближе удалилось от Вас — значит Ваша даль уже под самыми звездами и очень обширна, радуйтесь росту Ваших владений, куда Вы никого не возьмете. И будьте уверены и спокойны в общении с ними и не мучайте их Вашими сомнениями, и не пугайте их Вашей верой или радостью, которую они не могут понять». Как тихи, как покойны эти слова, на миг и сам затихаешь, прислушиваясь, не умея войти в их заповедник.

Мне счастье, мне горе — написать слово «мама». Еще пронзительнее услышать: «Мама», — зовет Женечка, такое случается — и на кромке сна, и наяву, порой прямо на улице. Мне счастье, мне горе — произнести твое имя — Женя, услышать из уст любящего тебя — Женя. Один премудрый человек, священник Георгий Чистяков, сказал мне: «Может, мы нашим детям, тем, которые ушли, еще нужнее». И еще сказал, всем сказал: «Пройдя через невыносимую боль, человек начинает верить в жизнь вечную». Хожу по миру, собираюсь крохами чужой мудрости, жду прозрения, и брезжит где-то вера легкими такими, убегающими от взора, облаками.

А сейчас самое нужное и важное для меня в словах отца Георгия — признание того, что можно и так: быть мамой, быть нужной ушедшему своему ребенку, мамой-сиротой и все-таки мамой. Как Женечка тогда сказала: «Мамочка, ты всегда будешь моей мамочкой?» Женечка, верно, тоже как раз об этом говорила. А я опять о своем. Есть же такие прижизненные и пожизненные звания: вдова, вдовец — людей и во внешней, земной их жизни не разъединяющие, а соединяющие. Маленький человек, твоя мама, Женечка, никак без внешнего обойтись не может. Разве мало мне нашей внутренней неразрывности? Разве мало мне твоего вопроса, а по сути, упреждающего мой вопрос ответа? Потому что знала ты грядущий мой вопрос, и знала всю мою слабость, и хотела облегчить мою участь ответом — признанием того, что всегда, всегда я буду твоей мамой, Женечка моя. И потому я буду всегда твоей мамой, моя маленькая, потому что ты, Женечка, пребудешь всегда.

Женечка моя, я тщусь добраться до заоблачных высот, до глубины схороненного внутри колодца, «хорохорюсь» (твое слово, Женечка), а мне все мало... Мне необходима ты здесь, сейчас и всегда, я не доросла до твоей великой вечности. Знаю, что дорасту только в смерти. И еще мне надо понять слова Толстого: «Жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я».

Женечка, послушай меня, я прочту тебе строки Бродского:

Мать говорит Христу:  
Ты мой сын или мой  
Бог? Ты прибит к кресту.  
Как я пойду домой?  
Как ступлю на порог,  
не поняв, не решив:  
ты мой сын или Бог?  
То есть мертв или жив?  
Он говорит в ответ:  
Мертвый или живой,  
разницы, жено, нет.  
Сын или Бог, я твой.

Эти слова, Женечка, — мое заклинание, моя сегодняшняя молитва, забегающие вперед непонимания моего, я им просто отдаюсь, этим словам, и они меня куда-то ведут, туда, где светло, туда, где ты, моя маленькая.

Я не хочу плохо думать о людях, но любовь, как известно, серьезней политики, так что не мешает все предусмотреть и поостеречься.

Булат Окуджава

Женечка едет с приятелем в Париж. Женечке с ним легко, свободно, уютно. Они обходят весь город. Женечка, уже бывавшая здесь, показывает Жеке свои излюбленные уголки, любимый Люксембургский сад, потом приятель скажет, что Париж для него — это Женечкин Париж.

В следующий раз Женечка едет в Париж одна, на выставку фаумского портрета в Лувре, обходит и художественную ярмарку в квартале Маре.

Перекусывает в кафе, рядом нарядная старушка обращается к Женечке:

«Отчего вы так грустны? Вот Далида трижды пыталась покончить с собой, на третий раз успешно».

Женечка привозит из Парижа альбомы, картину: два суровых лица — мужское и женское, в них твердость, бесстрашие, отдельность и неразрывность; две прелестные картинки, влекущие безымянными тайнами цвета и света; подарки и маленькую бархатную шляпку, в которой отправится в свою последнюю больницу.

Вручая мне подарки: замечательной красоты крест и легкий, радостной расцветки шарфик, Женечка строго говорит: «На следующую художественную ярмарку, что состоится в апреле, поедешь ты». Одарить сразу всем: чудесами, надеждой, будущим — это твое, Женечка. И в последний раз Женечка в Париже в обществе коллеги Томаса и подруги Оли, которая и затеяла эту поездку и пыталась, как могла, снять напряжение, возникающее от новизны такой компании и невнятности взаимных ожиданий. Оле это отчасти удастся. И перед Женечкой предстает цветущая земная реальность: прогулки, Париж под дождем (когда идет дождь, Женечка вместо зонтика надевает

свою бархатную шляпку), комплименты и песенки Томаса, рисующего Женечкин портрет, доверительные разговоры, кафе, Гранд-опера, дискотека.

Женечкины портреты — а рисовали Оля, Сечкин, Томас — почему-то не сохранились. Верно, Женечка уничтожила их вместе со всей своей корреспонденцией.

Томас, «человек-невидимка», человек необычный, ибо умеет смеяться на похоронах (может, он из тех избранных, для которых смерть — величайший праздник, гадать не буду), своей осторожной заинтересованностью и нескрываемым любованием украсил последние вольные Женечкины дни. А потом, когда взъярилась болезнь, устранился, наверное не желая докучать своей особой больной Женечке. Я как будто его оправдываю — да нет, больно за Женечку, в нем обманувшуюся. Должно быть, осторожность — самое яркое его достоинство, ставящее, полагаю, все остальные под сомнение.

Последнее воскресенье ноября. Женечка идет в гости, как раз к Томасу: старательно приготовленный обед, занимательная беседа. А на обратном пути Женечку настигает одышка, или что-то такое, от чего начинает колотить тревога, что так похоже на болезнь. Дома Женечка судорожно ищет медицинскую страховку, нет, не находит... Да она вообще-то и не нужна — это сдает тревога. А я в ту ночь мечусь в Дурбахе.

Выращенная надежда дает брешь, которая заполняется страхом. На другой день, гонимая тревогой, Женечка идет к врачу-терапевту. Но та безмятежна, ведь недавно был сделан анализ крови, он вполне удовлетворителен, это просто Женечкина повышенная мнительность и только.

И мы успокаиваемся, мы ведь так хотим быть успокоенными.

Красота при низких температурах —  
настоящая красота.

Иосиф Бродский

Впереди поездка в Москву. Женечке хочется домой, хочется утвердиться в своей возможности пересекать пространство, хочется убедить в этом неверящих в ее силы. С чрезвычайной отчетливостью вспоминается декабрь 1998 года, аэропорт Франкфурта, Женечка в черных брючках, черной вязаной кофточке (хотя не так давно сказала: «Не буду больше носить черное») везет тележку с багажом по коридорам и переходам — ловко, стремительно, как будто знает все повороты заранее. Облик бегущей, убегающей...

Нас встречает уют родного дома. Женечка, как и в прошлый свой приезд, сразу тянется к пианино: звучат романсы «Утро туманное, утро седое», «Гори, гори моя звезда!» Старенькое пианино Женечка любила тем больше, чем старше становилась, минувшее концентрировалось, воплощалось в нем, несло в себе загадку времени. Пожелтевшие его клавиши под Женечкиными пальчиками отзывались чистой и бескорыстной печалью. К тому же пианино, как это обычно бывает, служило полочкой для безделушек. Жил на нем маленький лебеденок с большими бирюзово-голубыми глазами. Когда Женечка, вытирая пыль, расставляла безделушки, то как-то так разворачивала лебеденка к часам, что они явно друг на друга заглядывались и друг к другу прислушивались и в конце концов подружились, строгие, чинные, чопорные часы и бесконечно изящный маленький лебеденок. Что за нужда у лебеденка в часах, а у часов в лебеденке, только Женечка ведает. И когда заходил разговор о переезде в Страсбург, о переезде настоящем, с вещами, Женечка всегда имела в виду пианино и книги. И сейчас на одной из книжных полок в ряд выстроились самые важные и нужные, подобранные Женечкой для переезда, книги. Они отстранены, неприступны, «часовые любви».



Встречи с людьми из прошлой, не отягощенной ужасом, жизни — с ними можно быть естественной, можно быть самой собой. Женечкиному достоинству ничто не угрожает, ведь все знают, какая Женечка сильная, смелая, решительная. Женечка встречается с родными, с веселыми подружками по прежней работе, много времени проводит с доброй, преданной Наташей.

Наташа ждет ребенка. Известно, что будет девочка. Они с Женечкой выбирают имя и решают назвать ее Дашей. Помню, я сама когда-то колебалась между Женей и Дашей, выбирая Женечке имя. И растет теперь у Наташи Даша, дай ей Бог здоровья, маминой доброты и красоты.

Женечка знакомится уже не только по письмам с московским доктором Шкловским, мудрым, душевно щедрым человеком с абсолютным слухом на чужую боль. Он не просто допускает нас до себя, но как-то удивительно отзывается на все наши звонки, вопросы, не уклоняясь, не ссылаясь ни на занятость, ни на усталость, что само по себе тоже редкость. Всячески нас поддерживает, пытается поселить веру в самих себя и врачей, да и в Промысел Божий, научить смирению, ненавязчиво подсказать: Жизнь (это у доктора Шкловского она с большой буквы, не у меня), она всюду, она всякая, не отрекайтесь от нее, не отказывайтесь, цените и то, что выпало вам. Когда Женечка лежала в коме, стоял октябрь 1997 года, доктор Шкловский сказал мне: «Поднимите голову, посмотрите на небо, посмотрите на деревья, до чего же они сейчас красивы». А в другой раз, в такие же лютые дни, сумел, отважился произнести: «У каждого свое счастье, у одних — с мужиком в ресторане посидеть, а у вас — приехать в больницу увидеть свою дочь и быть с ней».

В те дни я еще была сама собой, умела быть благодарной и была доктору Шкловскому за эти слова благодарна. Прямые медицинские советы доктор Шкловский давать избегал, полагая, что, «не имея перед глазами полную картину болезни, в ход лечения вмешиваться не следует», пояснения же давал, не скупясь. В Женечкином представлении доктор Шкловский так и пребывал скорее духовным наставником, и в этом качестве он Женечку не разочаровал. Женечка подписывает доктору Шкловскому научные медицинские журналы — это Женечки-

но посильное участие в помощи больным. Детишкам доктора Женечка привозит из Страсбурга старательно выбранные на рождественской ярмарке елочные украшения. Может быть, наряжая елку, они будут вспоминать Женечку?

«Я понравилась доктору Шкловскому?» — спрашивает Женечка, побывав в гостях у доктора, благо он наш чистопрудный сосед. И я, видя, как светится лаской Женечкино лицо, уверенно отвечаю: «Конечно, понравилась».

Доктор Шкловский нас не бросил. Обменивался письмами с Женечкой, вернувшейся в Страсбург. Не снисходил, а вверял ей свои мысли и, как подарок, принимал Женечкины, пытаюсь удержать на краю земли. И письма Женечкины сохранил. Я благодарна доктору Шкловскому, но благодарность моя мешается с обидой и вопросом, который впору адресовать Господу Богу: отчего он, доктор Шкловский, не спас Женечку? Значит он не тот «чудесный доктор» из особенно любимого Женечкой рассказа Куприна, что привел к маленькой занедужившей девочке слона, и девочка выздоровела, а Женечка, такая же маленькая и такая же прекрасная, приняла страшные муки и умерла. Доктор Шкловский, должно быть, меня, вместе с моей обидой, поймет и простит.

Зачем во мне столько обиды и ненависти? Зачем они путаются у меня под ногами? Они ведь не охраняют мою любовь, мои воспоминания, а это могло бы быть единственным условием примирения с ними. Они уйдут когда-то, покинут меня, я знаю, только вот не знаю когда... А теперь я, как лекарство, как заклинание от замучивших меня обид и ненависти к миру произношу любимое Женечкой сызмальства стихотворение Окуджавы, прозвучавшее на том самом вечере (от которого осталась видеозапись), что их навеки для меня связал. Хотя говорить так излишне, потому что Женечка для меня связана со всем, что осталось еще, что зримо здесь на земле.

## ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ

Осенний холодок. Пирог с грибами.  
Калитки шорох и простывший чай.  
И снова неподвижными губами  
короткое, как вздох:

«Прощай, прощай.»

«Прощай, прощай...»  
Да я и так прощаю  
все, что простить возможно,  
обещаю  
простить и то, чего нельзя простить.  
Великодушным я обязан быть.

Прощаю всех, что не были убиты  
тогда, перед лицом грехов своих.  
«Прощай, прощай...»  
Прощаю все обиды,  
Обеды у обидчиков моих.

«Прощай...»  
Прощаю, чтоб не вышло боком.  
Сосуд добра до дна не исчерпать.  
Я чувствую себя последним богом,  
единственным умеющим прощать.

«Прощай, прощай...»  
Старания упрямы  
(знать, мне лишь не простится одному),  
но горести моей прекрасной мамы  
прощаю я неведомо кому.

«Прощай, прощай...» Прощаю,  
не смущаю  
угрозами,  
надежно их таю.  
С улыбкою, размашисто прощаю,  
как пироги,  
прощенья раздаю.

Прощаю побелевшими губами,  
покуда не повторится опять —  
осенний горький чай, пирог с грибами  
и поздний час —  
прощаться и прощать.

В Центральном доме художника Женечка выбирает новую картинку того же художника, что и «уравновешенная дама» — «Мать и дитя». Картинка должна Женечке помочь — Женечка мечтает иметь детей, две пары близнецов, и имена для них уже выбраны: Давид и Нина, Марк и Лида. А Дурбах — замечательное место, чтобы растить детей. И опять настигает тревога: Женечка быстро устаёт от общения и от прогулок по городу, от попыток раздобыть интересные книги, музыкальные диски, побродить, не спеша, по любимому Дому художников. Кровоточит десна, долго не останавливается кровь из порезанного пальца, цепляется какая-то непонятная инфекция. Доктор Шкловский предлагает нам не прятать голову под крыло и сдать анализ крови. Но мы загоняем тревогу в угол — мы ведь не мнительные. Двадцать шестого декабря возвращаемся в Страсбург. Женечка, так трудно вспоминать, перехватывает горло.

Расположение вещей  
На плоскости стола  
И преломление лучей,  
И синий лед стекла.  
Сюда — цветы, тюльпан и мак,  
Бокал с вином — туда.  
«Скажи, ты счастлив?» — «Нет». — «А так?»  
«Почти». — «А так?» — «О да!»

Александр Кушнер

Встретить Новый 1999 год Женечка намерена в Дурбахе, где планирует провести несколько отпускных дней, а потом на неделю отправиться в Бенедиктинский монастырь, набраться силы, мудрости, тишины. Женечка заранее списалась с настоятельницей монастыря и уже заказала билеты. Они тоже причислены мною к реликвиям и хранятся в Женечкином архиве, как и многие другие «штучки», земные воплощения Женечкиных намерений и свершений. Первые дни в Дурбахе ничем не омрачены. Женечка гуляет, читает повести Зингера «В суде моего отца» и «Люблинский штукать», шутиливо комментирует не примеченные мною нюансы, любит героями. Женечка любила и умела шутить и ласково, и едко, и всегда изысканно, в отличие от меня, порой даже не понимающей и все-таки обижающейся на Женечкины шутки, умоляющей Женечку оставить шутки для других. Иногда смотрит телевизор, предпочитая всему остальному старые голливудские фильмы.

Не повезло в одном, повезет в другом. А если даже и в другом не повезет, нечего прощать Богу, надо брать вину на себя. Надо подпирать судьбу плечом, вернее — подставлять ей спину.

Кнут Гамсун

С самого начала болезни мы задавались вопросом, почему или зачем пришла к нам эта мука... Что это: наказание за наше несовершенство, наши «грехи», стихийное стечение обстоятельств, судьба? В одном лишь мы с Женечкой готовы были увериться, преодолевая сомнения: что случается все не почему-то и беда наша не почему-то, а для чего-то, дается нам какой-то урок. Все прочее так и осталось жить в нас вопросами, сомнениями, размышлениями. Коль скоро все случается ради чего-то, если наша беда — это посланное нам испытание, тогда остается только поверить в судьбу как в предназначенный каждому урок. Понять, поверить, до конца принять так, чтобы идти дальше, мы не сумели. Все равно все зыбко, неразрешимо, только и остается на все лады повторять оруджавское, взалхлеб любимое, а сейчас обращенное только к нам: «Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе».

А может быть, наша обреченность на судьбу совсем различна. В жизни каждого соотношение свободы и неизбежности уникально, и чем больше мы верим, что все предопределено, тем меньше выбора предоставляет нам судьба. И был еще такой, Женечку очаровавший рассказ Фрэнка Ричарда Стоктона «Невеста или тигр?», который я ей тогда вслух прочитала. В глубокой древности молодой человек благородных кровей и низкого положения полюбил дочь царя-полуварвара. Их счастливая любовь длилась много месяцев, пока однажды не стала известна царю. Юношу незамедлительно ввергли в узилище, и по законам правосудия той страны он должен был сам выбрать себе смерть или наслаждение, отворив на арене ту или иную дверь, не зная, что за ней. За одной дверью был голодный тигр, а за другой —

прекрасная девушка, предназначенная ему в жены. Его судьба оказалась в руках царской дочери, все заранее прознавшей, но колеблющейся: какое решение принять. И обрывается рассказ, и оставляет нас в неведении, как и куда судьба героя завела и какая эта судьба. «Вот ведь какая судьба, о-о-о-о, — поет-стонет Новелла Матвеева, — удивительно злая судьба». Всякий про судьбу что-то свое знает, только нельзя это знание никому передать, разве что в сказке сказать или пропеть будто ненароком; самому такое знание надо в терниях искать, добывать.

И мне ли не верить в судьбу, когда меня и по сей день — будто судьба еще не настигла, а только гонится за нами, за маленькой Женечкой следом, — на дыбу вздергивают, ножами вспарывают, за горло хватают все те знаки беды, что преследовали нас с самого моего и Женечкиного детства. Начиная с бабушкиного рассказа о белокровии, мне, тогда девочке, с отказа Женечки принять анальгин от головной боли, якобы он дурно влияет на кровь, и кончая Женечкиным вопросительным: «Что я туда умирать еду?» — сказанным при отъезде в Страсбург... Боже мой, кому в голову придет такое сказать?

Это когда после получения из Страсбурга приглашения на работу я упомянула, что желательно приобрести ряд навыков, необходимых в новой жизни. На самом же деле не перечесть знаков этих, и вынуждена оборвать себя, настигнутая отчаянным удушьем.

Если поверить в судьбу, то нет жертв, нет виноватых, нет места обиде и заведомо все должны быть прощены. А мое бремя вины, моя ненависть — они, эти человеконенавистники и боготорцы, бунтуют, ищут виноватых, находят, казнят, и судьба будто им нипочем, и нет на них моей управы. Но ведь это только пока, до поры до времени... Судьба их вместе со мною одолеет, ведь так, Женечка? Есть что-то безобразное, бесстыдное в моих предчувствиях, словно это они накликали на нас беду. Еще более гнусными представляются мне гадания, предсказания, тем более что они-то преднамеренны. Никто не имеет права заглядывать в судьбу другого — это низко, подло, это паразитизм худшего толка. Да, мы все связаны, но все-таки и разделены тоже. Живи своим, с Судьбой наедине, посредники здесь не нужны и не допустимы.

Сначала был истинный человек, и лишь потом было истинное знание.

Трактат Чжуан-цзы

Тридцатого декабря 1998 года Женечка едет в Оффенбург хлопотать об установке телефона и возвращается из города с болью в горле. На Женечку обрушивается болезнь, нет, мы гоним мысль о той страшной болезни, это просто ангина. Прием антибиотиков, через несколько дней Женечке лучше.

Женечка еще хворает, тяготится нездоровьем, томится, скушает.

— Помечтай о чем-нибудь, — прошу я.

— О чем? Все сбылось, — откликается Женечка.

Как будто бездумно, легко выпорхнувшие слова. Я так многого не понимаю. И эти Женечкины слова, о чем они? Поклониться Цветаевой?

Господи? Душа сбылась:

Умысел мой самый тайный...

Так ли? Они как будто светлы... Отчего эти слова меня так гложут?

Порой я понимаю эти слова в их прямом буквальном смысле; сказать прямое, не отвергающее самое себя слово, ведь это же в Женечкином характере, в Женечкиной сути — жить всерьез. Твержу, твержу слова эти, вымаливаю смысл, осеняюсь: «Сбылось». Женечке было дано увидеть красоту и трагичность жизни, обрести выразительное лицо — ведь именно в этом состоял для Женечки смысл жизни — взрастить любовь и оставить миру образ своей души. Я что же примирения ищу, да нет, я ищу Женечкиного понимания, к нему карабкаюсь.

Осторожно напоминаю Женечке о предложении доктора Шкловского написать тезисы доклада для конференции, посвященной времени, глазами больных и врачей (точного названия



не помню). Оказывается, Женечка уже обдумала эти тезисы и готова их записать — пока в черновом варианте.

Женечка диктует, а я записываю. Вот эти тезисы:

*Времени два.*

*Первое время — прогрессия. Четко обозначено начало (дан вектор), конец туманен или неизвестен.*

*Смысл жизни — это поиск смысла жизни. Смысл находится, теряется, находится новый. Есть свобода найти и потерять смысл, а также от поиска беспечно отвлечься. Присущи широта воображения и действий. Разброс смыслов, амплитуда.*

*С диагнозом время останавливается. В процессе болезни все действия вне времени. У человека одно желание — чтобы время снова пошло.*

*Когда время останавливается, прекращается поиск смысла, прекращается на фазе «утерян».*

*Диагноз — гарантия обретения смысла, он заключается в ценности каждого мгновения.*

*Но время больше не идет, остановилось, следовательно существование бессмысленно.*

*Если оно снова начинает идти, оно уже регрессивное, не с начала, а до конца.*

*Смысл присутствует постоянно — ценность каждого мгновения (вырастает из жалости об утерянном прогрессивном времени).*

*Присуще крохоборство. Людям недоступна широта воображения и действий, о ней можно только вспоминать.*

*Прогрессивное и регрессивное время подобно летоисчислению после РХ и до РХ.*

Нетрудно увидеть глубинную сложность этих запредельных слов, и, конечно, в моем разъяснении и защите они не нуждаются.

Шестого января на Женечкины именины едем в Баден-Баден в русскую православную церковь, ставим свечки за здравие. Женечкина поездка в монастырь откладывается, ведь Женечка

окончательно не выздоровела, а путь туда неблизкий. Но Женечке хочется побыть одной, хочется в Страсбург.

Седьмого января Женечка уезжает в город, а девятого мы узнаем, что болезнь, называемая нами ангиной, вспыхивает вновь.

Господибожемой!

Булат Окуджава

Женечка хворает уже три недели: болит горло, болит зуб, что-то болит яростно, настырно, истошно. Лихорадит. Идем к отоларингологу. Его не интересует наш диагноз, он заявляет, что, удалив гланды, мы решим все проблемы. Идем к дантисту. Таим надежду — это режется зуб мудрости.

Морозит, каблучки Женечкиных ботиночек постукивают, от лихорадки, от перевозможания лихорадки. Зубной врач не знает, что это за боль. Как будто не зубная. Интересуется Женечкиным происхождением, оказывается, у него русские корни. Всякому свое интересно.

Жар, безумный озноб. Когда знобит, Женечка просит прижаться к ней покрепче. Прижимаюсь, что есть мочи. Молюсь, как умею. К нам ходит терапевт, подбирает антибиотики, пре-краснодушно заявляет, что в городе свирепствует грипп.

Восемнадцатого января заканчивается Женечкин отпуск, она выходит на работу в надежде, что ангина скоро сама по себе пройдет. Девятнадцатого января в последний раз провожаю Женечку на работу. Запомнилось: на Женечке, дотоле редко надеваемый, яркий кулон, в противостоянии мраку. Он призван на помощь. Смотрю в окно. Обыкновенно, уходя из дома, Женечка оборачивалась, зная, что я смотрю ей вслед, благословляю. На этот раз не обернулась. Одна уходила, спинка прямая, головка поднята. «Не оборачивайся, не поддавайся страху» — и такое Женечке под силу. Нет, легче не становится. Удавка-мысль о рецидиве не дает дышать. Иду к терапевту, отчетливо объясняю, как долго мы уже хвораем, необходим анализ крови. Она настаивается и выдает на завтра соответствующее направление. Возвращаюсь домой, рассказываю Женечке о своем визите.

Женечка взрывается. Ей так мало осталось жить, может года три, так нельзя ли оставшееся время распорядиться собой по собственному усмотрению.

Я поняла тогда, откуда возникли эти «три года» и содрогнулась, потому что думала и продолжаю думать, что самое тяжелое, самое трудное — это быть приговоренным к смертной казни в известный тебе час, иначе говоря, ведать о сроках земной жизни. В первой попавшейся Женечке статье о лейкемии, принесенной в больницу в день нашего приезда в Страсбург Сечкиным, на первой же странице указывался средний срок жизни больных лейкемией. Я почувствовала, как Женечка выхватила из текста эти строки, и с той поры начала отсчет, поверив им еще и в силу внезапности их вторжения. Со мной она о том не поделилась, желая оградить меня от этого знания, глубоко замуравив его в себе. И этот отсчет, сужу по нечаянности вырвавшихся слов «три года», продолжался постоянно, несмотря на сменявшие друг друга периоды надежды и отчаяния.

Женечкин гнев разрывает меня на кусочки. Надо как-то собраться.

Выхожу на улицу. Невнятные обрывки чувств, сквозь них пробивается знание: это не может быть ничем иным, это та самая страшная болезнь. Возвращаюсь домой, соскучившись. И Женечка соскучилась: «Где ты была?» Мы не возвращаемся к тому разговору, мы ласковы и нежны, и у нас еще есть время пребывать в надежде до утра. Приговор еще не прозвучал.

Не хотел бы оказаться прокурором по делу об убийстве, если б не видел сам, как это убийство произошло.

Аксель Сандемусе

Приговор прозвучал на следующий день после анализа крови, двадцатого января. Вспоминается Женечкина спальня: полдень, жалюзи опущены, включен свет, мы ждем звонка терапевта. Он раздастся в половине первого. Наш доктор не решается сказать правду; она говорит о возможной инфекции в крови и настаивает на немедленной госпитализации — там уже знают о нашем состоянии и ждут. Несмотря на все околичности, нам ясно — это рецидив.

Женечка в ту пору не вполне понимала, что это значит, или по своему обыкновению щадила нас, не обнаруживая свое понимание. С довольно легким сердцем отправилась в больницу, ободренная к тому же известными нам примерами, указывающими на относительную непродолжительность предстоящего лечения — курса химиотерапии с последующей трансплантацией собственного костного мозга.

«Новые отношения можно установить месяца за два», — Женечка по-детски убеждает меня и себя, не рассчитывая восстановить прежние. Она подготавливает себя не столько к предстоящим физическим страданиям, сколько к новому испытанию одиночеством, ожидающему за стенами больницы.

Мы твердили себе, что три недели, как это обычно бывает, — и Женечка будет на воле, а может быть, и на работе, и старались, как могли, сохранить волосики, чудные, кудрявые, еще полные силы. Каждый день, не один раз, мы смачивали их специальным раствором, ласкали и уговаривали не поддаваться. А Женечка уговаривала меня: «Не переживай, не расстраивайся так, мама, мне не было хорошо на свободе». И одновременно мечтала об этой свободе: «Наконец-то я знаю, что с собой делать».

Волосики держались, сколько могли. Но однажды их беззащитность стала явственной. И придя утром с полоснувшей по сердцу болью, застали Женечку бритой, прячущей от нас глаза, застывшей в безмолвии, отчаянно хрупкой.

Вслед за курсом химиотерапии второго февраля провели пересадку костного мозга. Зачем-то я спросила имя медсестры, осуществившей пересадку. Все тогда казалось безмерно важным, имеющим свой особенный смысл, все что-то означало, было неразгаданным символом. Медсестру звали Соня. Она была миловидная, с виду кроткая. Помню, меня это воодушевило.

Поначалу все было сколько-то сносно, ожидаемого повышения температуры не было. Но вскоре начались боли, быстро разгоревшиеся и потребовавшие вмешательства. То были печеночные колики: печень была отравлена вводимыми ядами и голосила, что было сил. Ввели обезболивание, непрерывный многодневный морфин, после снятия которого на Женечку обрушилась страшная слабость и забытье. Звучали обрывки разговоров разных времен, чаще школьных, с детской интонацией задора и бесшабашности, иногда неожиданные: «энергетическая потенциальность», «уровень жизни», «мещанство». Порой сшибали с ног фразы: «Я у тебя одна?», «Поставь мне ценный памятник». Я окликала Женечку, хотелось ее присутствия, диалога, иногда спрашивала, что значат те или иные ее слова. И Женечка порой внятно отвечала: «Не обращай внимания, это поток сознания». В этом потоке и прозвучало: «Лучше короткая интересная жизнь, чем длинная неинтересная». Господи, то было бессознательное подведение итогов.

Появились отеки. Особенно страшны были отеки в легких. Проводят многократные пункции из плевральной полости, очистку печени при сонном, полусознательном состоянии. Женечка не встает, хотя нестерпимые спазмы в кишечнике побуждают ее к попыткам выбраться из кровати, к тому времени, огражденной перилами. «Мамочка, умоляю!» — не своим голосом кричит Женечка, пытаясь перелезть через перила и призывая меня на помощь.

Женечку нельзя оставлять одну, каждую ночь с ней проводит отец. Возникают угрозы операции на легких, операции на печени. Частые пункции костного мозга для выяснения причин затянувшейся цитопении. Ее заострившееся, пожелтевшее от желтухи личико, на котором почти ничего нельзя прочесть. Боль, страх, отчаяние своей чрезмерностью как будто сами стирают свои следы. Должно быть, это то, что называется шоком, отказом от себя, столь люто страдающей.

Отек распространился на все тело, воспалились кисти рук. Постоянно смазываем кремом ручки, массируем ножки. После трехнедельного сна она приходит в себя, но это не облегчает, скорее утяжеляет состояние.

Боль, беспомощность, унижение. «Мало не покажется», как сказала бы в прежние времена Женечка.

Особая мука: сколько раз Женечку возили по разным кабинетам — рентген, сканер, томография. Приходили дюжие молодцы, везли Женечку на кровати по коридору, спускали в лифте, опять долго везли по коридору, я или отец поспешали рядом. У Женечки отсутствующее, отрешенное лицо.

Женечкина беспомощность у всех на виду: вокруг снуют люди на своих ногах, в цивильной одежде. Потом мы долго ждем в каком-то большом помещении среди других человеко-кроватей, пока нас не пригласят в кабинет. И еще раз ждем, пока за Женечкой не придут молодцы — отвезти обратно в палату.

Как мужественно Женечка претерпевала разные процедуры, устрашающие, болезненные: установку катетера, промывание катетера, взятие анализа крови, пункции костного мозга, пункции плевральной жидкости.

И радовало Женечку всякое омовение, умывание, чистое, мягкое белье, ласковые прикосновения, как ждала, жаждала она недоступных в то время душа, ванны.

В это время Женечка уже не нуждалась в людях, точнее, нуждалась в абсолютно преданных. А откуда таковые могли взяться, когда в человеческой природе качества такого не заложено, поскольку оно не идет на пользу так называемой адаптации. Схлынула волна посетителей. Зрелище больной, гибнущей девочки перестало быть интересным, и мы, наученные горьким

опытом, были тому рады. Кому же хочется выставлять себя на обозрение тем самым зевакам, что с удовольствием глазают на жертв катастрофы. Когда-то у нас вызвали протест слова одного из врачей, раздраженного первоначальным наплывом посетителей, по обыкновению противопоставляющих свою гуманность профессиональной, врачебной: «Что вы, Евгения, от них ждете? Это же любопытство одно, и ничего другого». Слова показались циничными. Я сегодняшняя, надломленная и ожесточенная, с этим доктором соглашаюсь. Правда, хочется оговориться: это относится ко всем, кроме ангельских душ, творящих добро из душевной потребности. И воздать им по заслугам — мой долг, но это возможно только тогда, когда освобожусь я от терзающей меня ненависти.

Людьми движет именно любопытство. Как говорит Нагибин: «Человек жесток и любопытен... ему хочется трагедий и зверств, лишь бы при этом оставаться на местах для зрителей». И добавлю: кроме любопытства, человеком движет и забота о социальном статусе. В нашем случае это особенно бросается в глаза. Так или иначе прознает один про другого и еще дальше сообщит, кто сколько визитов больной Женечке нанес, и еще по начальству доложат. Вот и вклад в репутацию, совсем не последнее, между прочим, дело.

Посещала поначалу Женечку и одна мадам с замашками профессионального филантропа, зловеще памятная тем, что первая, ссылаясь на какую-то неведомую подругу, произнесла непереносимые слова о Женечкиной обреченности, без какой-либо надобности отнимая у нас веру еще до комы, когда даже сумрачные врачи не исключали, в рамках своей статистики, естественно, успеха в лечении — лишь бы первой увидеть потрясенные лица родителей. Чем не зрелище? На такое человек, если он человек, подымать глаза права не имеет.

Мадам продержалась долго, целых три месяца, и исчезла. Мы с Женечкой вспоминали о ней поначалу с благодарностью и некоторым недоумением — о ее веселом щебетании, женской ухоженности, долженствующей дать и нам, растерзанным, высокий, на французский манер, пример стойкости и умения переносить несчастья, пример поведения, доступный для



подражания непричастному и мало убедительный для тех, кому белый свет в копеечку.

В прежней жизни я бы сказала мадам спасибо за то, что подарила нам кусочек своего времени и внимания, и даже постаралась бы убедить Женечку в достоинствах такого ее поведения. Но знаю, ничего бы из этого не вышло.

У Женечки были и остаются свои представления (и теперь, я знаю это, Женечкины критерии только возросли). В своем нравственном максимализме Женечка никакой половинчатости бы не приняла. Однажды, по другому, но аналогичному поводу, Женечка сказала: «Да, мне с ними было хорошо, они меня поддерживали, вели себя достойно. Но, если теперь этого нет, я не могу из чувства благодарности к прошлому ценить их и дорожить ими, как раньше». В том измерении, где я нахожусь сейчас, после Женечкиного ухода, я абсолютно разделяю Женечкин взгляд.

По истечении какого-то времени нам стала очевидна несчастливость исчезновения мадам. И все чаще всплывали в голове слова французского летчика и писателя Сент-Экзюпери, в нашей родной стороне их знают все от мала до велика, хотя это, конечно, не означает, что они для всех являются руководством к действию: «Мы в ответе за тех, кого мы приручили». Наша мадам, должно быть, этих слов не знала, иначе просто была бы вынуждена поддержать национальный престиж. Спустя два года я, гонимая яростью, ненавистью, настигла ее вопросом: кто же та ее подруга, на чью осведомленность она ссылалась, делая свой страшный прогноз еще до апокалиптических предсказаний доктора Мувлазеля — кликушествовая и прокладывая дорогу смерти... Мадам с невинностью школьницы прощепетала, что она полагала, что нам лучше и мы живем и здравствуем, и больше она ничего про нас не знала, и вообще предполагала, что звонит ей сама Женечка. Это была столь явная, столь безобразная ложь, к которой я, казалось бы раскусившая мадам, готова не была. И оттого оцепенела и онемела.

Отчего я так подробно останавливаюсь на этих вроде бы незначительных обстоятельствах?

Нет ничего несущественного для меня в том, что так или иначе касается Женечки. А эта мадам даже и буквально касалась. И еще потому, что хочу предостеречь доверчивые души от филантропов той масти, что приходят в качестве духовных наставников к обреченным, руководствуясь сведениями, якобы полученными от каких-то несуществующих подруг, чьи имена они потом вовсе забывают, размывая тем самым напрочь ответственность за свои зловещие слова... Те слова, что пуще всяких дел, слова, долбившие и долбящие и теперь наши, и без того безумные, головы. Полагают филантропы при том, что их временные затраты не будут значительны, а почет и самооценка определенно преумножается. И сегодня, девятнадцатого августа, спустя девять месяцев после Женечкиной смерти, после всех моих вопросов и выпадов в адрес мадам наяву и во сне, нам принесли от нее цветы со словами «соболезнования» (не беспокойся, Женечка, я эти цветы выбросила).

И не случаен этот срок, сами эти прошедшие девять месяцев, мадам стояла у истоков Женечкиной смерти. Вообще-то, мадам, я рисую образ сколь конкретный, столь и собирательный, оттого вы в моих воспоминаниях имени не имеете. И на своем «милосердном» поприще вы вовсе не одиноки, хотя и не все столь высоко образованы и комильфотны, сколь вы.

В прекрасном нашем Дурбахе, на одной с нами лестничной площадке жила дружная, симпатичная, умеющая радоваться и отмечать разные праздники семья. Но, как говорится, в семье не без урода. И в этой замечательной семье имелся свой урод — бабушка. Само слово-то какое доброе: кто же в семье обычно добрее бабушки?... Но здесь уместнее произнести другое слово — старуха. И старуха эта однажды, обращаясь к нам с отцом, произнесла полувопросительно-полуутвердительно: «Ждете смерти?»

Совсем как мадам, стелила дорогу смерти. Не терпелось ей, с ее ненасытным аппетитом, поучаствовать еще в одном деревенском празднике. И мир от этих слов стал еще отвратительнее, еще беспощаднее. И померк наш Дурбах. А маленькая Женечка в то время бегала, превозмогалась, любовалась цветами,

деревьями. А ее обступали не только прекрасные деревья, но и злые, криводушные люди.

Это я о чужих говорю. Непонимание, равнодушие близких, точнее, казавшихся близкими и добрыми друзьями, вдвойне тяжело. Впрочем, стоит ли горевать хотя бы и об умерших дружбах, когда умирают бесконечно тобою любимые, когда так далеко от тебя самая из всех любимая маленькая Женинька?

Мы с Женечкой, случалось, обсуждали, как раскрываются люди в таких запредельных ситуациях. Люди, с которыми связывают годы и годы взаимного участия, привязанности, дружбы. Женечка полагала, а я порой вынужденно соглашалась, оглушенная примерами, что в таких случаях помощи не приходится ждать от людей из бывшей, будничной жизни. Если кто-то вообще и может помочь, то это будут, скорее всего, новые, прошедшие через ад, «не нормальные», нездешние, «запредельные» люди.

Моя Женечка, сами собой всплывают в памяти твои горькие и все равно щадящие нас, слова: «Я немножко устала». И я, Женечка, «немножко устала».

Я устала без тебя, измучилась без тебя. Что бы я тут ни вспоминала, какую бы ни творила в воображении своем (с твоей, конечно, помощью — ты ведь на все лады хочешь мне помочь) нашу общность и наше «мы», я не могу без тебя, Женечка. Я вою и волочу по земле эту никому теперь не нужную, никем не любимую, безобразную, тягостную мне, земную свою оболочку. Ты, мое Солнышко, пытаешься облегчить мне мой крест. Если уж я не могу жить во сне, в воображении, где ты, должно быть, невероятными усилиями с твоей стороны, как обычно стараюсь «защитить» меня, всегда присутствуешь, ты готова опять пре небречь своей свободой и взять меня к себе. Ты зовешь меня, ты учишь меня не бояться...

А что же я? Не состоит ли мое бесстрашие, имеющее отношение только к земной жизни, целиком из агрессии и ненависти? Надеюсь, нет, я учусь ничего не ненавидеть, учусь, Женечка.

Я все еще «предпочитаю страдать, нежели уйти» и даже нахожу тому в своей изломанной душе объяснение, или правильнее и честнее сказать — оправдание. Ведь я обязана перемучиться,

перемучиться так, чтобы не было стыдно перед Женечкой, принявшей такие муки, не было стыдно за легкость бытия и легкость ухода. Презираю себя, ибо нет во мне бесстрашия умирать.

Очень хочется поклясться тебе, моя маленькая, себе, что дозрею, дорасту я до него. Но говорят мудрые люди: не клянись, только для того даются клятвы, чтобы ими пренебрегать. И, похоже, это так. Мой опыт, опыт моих клятвопреступлений и предательств о том же.

Конечно, моя ярость, мой гнев, моя ненависть адресованы не кому-то одному, а всем нам, тем, кто предавал Женечку. Предавали по-разному. Одни нежно помогали на первых порах и стремительно убегали прочь в пору не менее для Женечки трудную и критическую, чем пребывание в больнице, полагая, что в больнице человека можно и даже следует баловать вниманием и поддерживать, а на воле, извините, все мы под Богом ходим. Другие убегали, уяснив, что сила и время у себя, драгоценного, не бесконечны, а умирание что-то затягивается. Иные тешили и оправдывали себя мыслью: я-то чем тут могу помочь. Кто-то черпал в Женечке опыт преодоления, стоицизма, не воздавая за муки, что взвалила Женечка на себя и несла за всех. И нередко мы слышали от добрых людей такие «поддерживающие» слова: «Мол, ни у кого нет завтра». Но отчего-то забывали добрые люди о насущности для нас такого заверения, тогда как для них эта присказка была лишь припорошенной страхом отвлеченностью. Что это было? Фарисейство или непонимание? Скорее второе. И как часто, как горько повторяла Женечка: «Они не понимают, они не понимают». Кто они? Они — это другие, они — это обладатели незатейливого «счастья» — быть такими, как все — во имя дурной целесообразности. Конечно, я не о конкретных людях говорю, воплощающих в себе предательство того или иного толка, в человеке ведь все перемешано: и доброе, и злое. Я о мотивах такого поведения, то выраженного, то едва распознаваемого.

А предатели невольные, к которым отношу себя, пусть и желали, но не умели разделить муку, не умели освободить от нее, не умели умереть за Женечку, а ее от смерти спасти. И я

не умерла вместо Женечки, и носить мне груз не только безмерного одиночества моего, но и груз предательства до конца дней моих. Одна надежда, что недолго. Заберет меня Женечка к себе, освободит от этого груза. Я опять посягаю на твою свободу, Женечка.

Но если тот свет есть, то, может, там и свободы на всех хватит, мест ведь на всех хватает. Я не торгуюсь с Господом Богом, я к нему взываю: помоги мне, подари мне смерть, не все же у Тебя там одни бесстрашные собрались.

Да что же мы за люди, умеющие брать все и везде, где только можно, и не умеющие воздавать, любить, жертвовать! И разве не в этом наше проклятие? Кто мы: успешно приспособленные, отвергающие, не понимающие чужую боль (бывает ли боль чужой)? И я не могу не согласиться с Нагибиным: «То и жизнеспособно на земле, то истинно служит делу жизни, что заурядно». «Умиравшего человека все предают». Да, всей собой понимаю, это так. Несметно число предателей, несметно число каинов. Но предающие и убивающие в первую очередь предают и губят себя.

А Женечка ушла, никого не предав и не погубив душу свою живую, и в этом высота ее удела.

Она была сделана из того, что увлажняет сны женатого человека.

Акутагава Рюноскэ

А Женечке нужны были поступки. И любовь нужна была, ведь ее всегда не хватает. Недостаточно любви близких, нужна и любовь дальних, чужих. А твоя любовь могла наполнять до краев, Женечка, потому что ты во всем велика.

Однажды в ноябре 1998 года позвонил Женечкин друг из Америки, когда-то работавший вместе с Женечкой в Москве (ошеломивший меня, не Женечку, тем, что, увидев ее впервые, произнес: «Боже мой»), и рассказал о том, что расстался с женой и тремя детьми, что представлялось невероятным раньше при всем самоотверженном и восхищенном его к Женечке отношении. И расстался в связи с Женечкиной болезнью, и будто случайно произошло это как раз во время Женечкиной комы. В тот момент мы расценили это деяние как принесение жертвы на алтарь Женечкиной жизни. Так ли это было, Бог весть. И Женечка, даже не будучи готовой откликнуться на его призыв приехать к нему и быть с ним, распрямилась, воодушевилась, поверила в возможность чуда, поверила, что в жизни для нее уготована не только мука, но и преклонение, и обожание. Гэри, так его звали, больше не звонил и не настаивал. И мы, мелкие, подозрительные, недоверчивые, можем усомниться в его решимости, как обычно сомневаемся в своей. У Женечки сомнения в его адрес не было. А что пленило Женечку на этот раз в Гэри, так это его отношение к болезни, как к одному из проявлений жизни. И слово «рак» он произносил просто, без пугливости, без оглядки — мол, чур не меня — на миг освобождая Женечку от ощущения своего изгойства, непричастности к земной жизни, к этому свету.

Я к розам хочу, в тот единственный сад,  
Где лучшая в мире стоит из оград...

Анна Ахматова

Идет уже третий месяц пребывания Женечки в больнице. Сквозь все муки пробивается одно желание — домой, домой. Врачи, однако, не спешат отпускать. Женечка неукротима, а они осторожны, имея на то основания, и снисходительно-насмешливы, на это не имея уже ни основания, ни права.

Ординаторша Сесиль, быть может самая человечная из всех, снисходительно спрашивает: «Зачем это Женя так спешит домой?» И Женечка внятно, по-детсадовски, как это она сама позже определит, объясняет: «Ну, дома можно полежать удобно, посидеть в своем кресле, послушать музыку, почитать, посмотреть телевизор, погулять в парке, в конце концов». Позже Женечка оценит это объяснение как одно из унижений в цепи прочих и удивится самой себе, как она могла это перенести. Мы с Женечкой как раз начинаем понемножку ходить по коридору. При этом Женечка старается быть замеченной врачами: «Вот видите, я уже хожу, хожу. Меня уже можно отпускать домой».

Женечка мечтает о душе. Наконец нам разрешают, и мы бредем со всеми склянками в душ, плачем и худо-бедно, но моемся.

И Женечку начинают отпускать на день домой — при условии возврата в урочный вечерний час в госпиталь. Господи, как мы считаем каждую минуту на воле! Сначала гуляем потихоньку, примеривая каждый шаг, в парке Оранжери. Гуляем, однако, недолго, полчаса, не больше. Женечка устает, хочется домой, лечь и накрыться, лежать уютно в своей комнате, на своей кровати и чувствовать всем существом и каждой клеточкой: «Я дома, дома, дома». И есть понемножку чего-нибудь вкусненького, домашнего. И наслаждаться минутами и обреченно ждать урочного часа.

Наконец-то была Страстная пятница — после очередной пункции и сооружения нового катетера отпустили домой. И это было счастье, и это была мука. Какой невыносимо усталый, изможденный облик у Женечки. Боли, недомогания, невыносимый труд жизни. Истерзанная, искалеченная. С мукой садится, ложится, ходит. На кровати Женечка садится, сцепив ладони и опираясь на локти. Так было и в больнице, так было до конца. Ножки потом еще успели набрать силы в Дурбахе, а ручки, плечики, несмотря на попытки заниматься с гантелями, так и не окрепли. Женечку изрядно смущал этот жест. «Недостает гибкости», — примечала она. Первым делом Женечка забралась в ванну, взбила пену и надолго там «приютилась».

Еще цвела магнолия. Я все мечтала, пока Женечка лежала в больнице, чтобы она успела ею налюбоваться. В парке Оранжери росло поздно цветущее дерево с яркими, темно-фиолетовыми цветами, вокруг него мы и кружили. Я не знала, куда деться от страха, от тревоги, каждый шаг, каждую прогулку ощущая последними. Полученная из больницы выписка питала эти чувства. Единственно, что в ту пору сколько-то поддерживало, это упования на возможность проведения курса иммунотерапии или пересадки костного мозга от родителей. Однажды перед сном я начала что-то принужденно толковать о дальнейшем лечении. Женечка резко оборвала: своими причитаниями я мешаю ей выздороветь теперь, сейчас, и не надо хоронить ее заживо. А в другой раз, напротив, в ответ на мою пылкость, возразила: «Не держись за меня, как за живую».



Дух непоколебим; понапрасну  
катятся слезы.

В начале мая выезжаем впервые в этом сезоне в Дурбах. Первая прогулка в ослепительно солнечный, теплый, многолюдный день. Виноградные холмы сплошь покрыты желтыми цветущими одуванчиками. Женечкино заострившееся личико, неузнаваемое, горькое. Не приносящие облегчения слезы.

Постепенно погружаемся в лето, наше последнее лето. Пребывание в Страсбурге обычно связано с визитами к врачам, то к основному — гематологу Мульвазелю, то к гастроэнтерологу Шнайдеру. Женечку беспокоят боли в печени. А как-то надумали пойти к гомеопату. Женечка порой находила в себе силы для куража (то был май месяц), и врач, увидев нас в приемной, принял за пациента меня. А Женечка ему объясняла, что хорошо ест и спит, и все если не замечательно, то, во всяком случае, сносно, и она, Женечка, несмотря на практически безнадежную выписку из больницы, настроена на победу. После Женечки врач приглашает к себе меня, мягко и обстоятельно рекомендует, несмотря ни на что, быть оптимистом, приводя разные мыслимые и немыслимые примеры, а главное — восхищается Женечкиным бесстрашием, мужеством и волей. Спасибо ему за это. Жаль, не помню я его имени. Он один из врачей, кто оценил эти качества и выразил свое восхищение.

Многочисленные поездки к гастроэнтерологу — господину Шнайдеру. Почему-то отчетливо вспоминается приемная. Назойливые репродукции Матисса, деловитая девушка-секретарь, любезно-равнодушный врач с перекошенным кривой улыбкой лицом. Многочисленные анализы, снимки, сканер, какие-то отвратительные таблетки, которые необходимо постоянно сосать для очищения обложенного языка. Внезапная гастроскопия, вызвавшая у Женечки шок и слезы. Небрежно брошенное врачом и небрежно переданное мне Женечкой: «Вы все равно умрете». Еще один стервятник от медицины.

Регулярно, раз в две недели — визит к врачу, гематологу Мульвазелю. Этому визиту предшествует анализ крови в местной больничной лаборатории. Женечка сдает кровь, следуют тяжкие минуты ожидания, пока нам не вынесут конверт с результатами. Общение с врачом Женечка склонна сводить до минимума, не задавая вопросов, не поднимая глаз. В отношениях нет дружелюбия, доверия, врач отстранен, холоден и жесток. Женечка для него лишь статистическая единица. Так чувствует Женечка, так чувствуем мы. А как хотелось верить ему, благословлять его, пренебрегая его амбициозностью, враждебностью, уклончивостью... Как мечталось целовать ему руки по Женечкиному выздоровлению... Должно быть, в том уже наша порочность: руки-то надо целовать человеку не за что-то, а бескорыстно, вверяясь ему всякий миг, помогая ему расти и творить доброту. Я уже об этом говорила, но терзает меня это непонимание, терзает, не отпускает, оттого и повторяюсь.

По результатам анализа врач решает, нуждается ли Женечка в переливании крови. Если да, то следующий день Женечка проводит в больничной палате. Переливания крови весьма часты, по словам врача, «костный мозг ленив, работает не в полную силу». Мы тщимся относить эти слова только к настоящему: «Так будет не всегда, костный мозг подавлен химиотерапией, он воспрянет, наберет силу, мы выздоровеем». Та самая «надежда, что сводит с ума».

Май, наши прогулки по окрестным улицам, любимая Женечкой сирень, особенно чарующая у дома с солнечными часами на углу. Выбираемся в музей Современного искусства. Женечка уже бывала здесь, показывает мне запомнившиеся картины, скульптуры. Как-то незаметно для меня Женечка вошла в мир изобразительного искусства. Я не о знании говорю, а о потребности, умении видеть, проникать, наполняться, нести в себе и нежно источать этот волшебный мир, как тончайший аромат души.

На бульваре Ла-Марне присматриваемся к домам — на случай переезда нас, родителей, из Дурбаха в город, чтобы жить поближе к Женечке, когда она окрепнет настолько, чтобы жить одна.

В мае-июне Женечка принимает гостей, коллег по работе: респектабельного здоровяка Ханса, непосредственного Жениного начальника; холодновато-внимательную Юту, которая много ездила и имела обыкновение присылать Женечке открытки из разных городов, она была одной из тех, кто мог подарить так необходимую Женечке улыбку; пылкую Паулу, чья пылкость дополнялась незаурядной пронизательностью; Бренду, которая учила русский язык и играла в теннис; добрую и лукавую Сюзетт, любительницу музыки и танцев, про которую Женя говорила: «Она никогда не раздражается».

Тридцатого мая во Франции отмечают День матери. Женечка — мне: «У тебя, конечно, не самая счастливая судьба, но и не самая горькая».

Соглашаюсь: дай Бог, чтобы так... И восхищаюсь Женечкой — этой отвага слова, чеканного твердого слова. Сама я могу только мямлить и вскипаю словами лишь на пределе ужаса.

Однажды в мае едем в дальний парк, сидим на скамейке с видом на замок. В тот день нам еще раз внятно дали понять, что цитопения (малое количество клеток крови), скорее всего, есть проявление болезни.

Сопrotивляясь грозящей заполнить нас безнадежности, Женечка и увлекла меня в этот новый для нас, еще не залюбленный парк. Горечь, красота и безмятежность парка. Не выдерживаю, плачу, выкрикиваю что-то отчаянное, протестующее, бесшабашное. Женечка утешает. Женечка согласна: «там» не может быть хуже, куда же еще хуже... Но ей хотелось бы еще побыть здесь, со мной. Долго сидим обнявшись.

Грядет Женечкин день рождения. Женечка делает себе подарок — телефон с автоответчиком. Начинается телефонная блокада. Женечка отгораживается от мира. Покупаем посуду: в дополнение к Женечкиным большим тарелкам тарелки мелкие и вазочки для мороженого, особенно полюбившиеся Женечке. А еще нам хочется музыки. Женечка предоставляет мне выбор, приношу диски: прелюдии Шопена, девятую симфонию Бетховена и Бранденбургские концерты Баха. Жаркий вечер, открыты окна, мы с Женечкой на диване в гостиной: ликующие, необъятные, уводящие нас за пределы самих себя звуки

бетховенской симфонии. Вкрадчивые, надломленно-нежные прелюдии Шопена: они пытались примирить нас с прощанием, они продолжались в нас, плакали за нас, вместе с нами. Бранденбургские концерты гранили наше молчание.

Через это молчание пролегли Женечкины слова: «Мы мало разговариваем, но главное мы сказали». Да, Женечка, сказали, обнявшись на пороге твоей комнаты: «Я очень люблю тебя». «И я очень люблю тебя». Твои пронзительные глаза, твой серый халатик, твоя бесплотность. И сейчас увещевает меня моя маленькая: «Пойми мама, смерть это не поражение, это не разрушение, это — те самые ворота, что открывают путь к свету, как раз те ворота, что на солнечной картине, неспроста подаренной мне к двадцатипятилетию вами. Это ты ведь уже знаешь, мама, что все неспроста». Колотясь на границе, разделяющей наши миры, любовью своей минутами дотягиваясь до твоего мира, облачась в латы твоего бесстрашия, моя родная, я произношу внутри себя: «Нельзя быть несчастной, нельзя быть нищенкой, надо любить и принимать Женечкину любовь». И не умея ничего перевернуть, преобразить в себе, остаюсь той же, прячущейся, бегущей от света, воюющей со временем, нищенкой с протянутой рукой: «Господи, подай любви».

Неожиданно в день рождения Женечки в Дурбах приезжают две приятельницы, Оля и Таня, с замечательным сине-красным букетом. Женечка как будто рада подружкам, но вид у нее, по Олиному выражению, отсутствующий. Это не мешает Женечке горячо вступить за Ленинград, когда только что вернувшись оттуда Оля сетует по поводу воцарившейся в городе разрухи. Женечка любит Ленинград и когда-то написала в письме такие строки: *«...розовоперстая Эос пребывает в понятном недоумении с середины июня по сию пору и далее, понятная причина коего состоит в пресловутой белизне ночей, окаймляющих мой Невенбург».*

Четырнадцатого июля — национальный французский праздник. Встречаемся с Олей, слушаем орган в соборе св. Павла, смотрим салют на набережной. Женечка отстраненная, хмурая, молчаливая.

Однажды, где-то в июле, идем в кино: Альмодовар, «Все о моей матери». Каннский фаворит плюс рекомендация наших друзей. В фильме погибают юные и красивые, остается сиротой маленький ребенок, которого на воспитание берет мама погибшего героя. С причудливостью, но без души — таково наше мнение. И вообще мы удивляемся, отчего нам его рекомендовали друзья, и почему к нему такое внимание прессы.

Женечка обычно ходит в городе в длинной, песочного цвета юбке, шелковистой узорчатой маечке и бордовой кофтенке поверх нее. Совершенно худенькая, с отрешенным прозрачным личиком. «Не от мира сего» — так отзывается случайно повстречавшаяся нам наперсница по курсам французского языка Франя. Иногда мы тихо нежмся на скамейке в Оранжери. (Выходные мы проводим дома — в парке слишком многолюдно.) Но чаще Женечка выходит побегать по парку вечерами, когда совсем стемнеет, — Женечке не хочется никого видеть. У Женечки есть свое измерение бега, где единица — круг у павильона и широкая аллея вдоль пруда. Обыкновенно Женечка, вернувшись, докладывает, сколько кругов пробежала (чаще всего шесть или семь), поощряя или порицая себя и объясняя причины в случае недовольства собой. «Как в раю», — вернувшись однажды с пробежки, отзывается Женечка. В парке горели фонари, подсвечивая диковинные деревья, из павильона доносилась музыка.

Вспоминаются слова Цветаевой из письма Л. Е. Чириковой: «Я увидела фонари, там, во время какой-то прогулки с вами, и цепочка фонарей всегда мне напоминала бессмертие».

...вначале, когда мир был молод, существовало множество мыслей, но правды как таковой не было. Человек выработал правду сам, и каждая составлялась из множества неясных мыслей. Повсюду в мире были правды, и все они были прекрасны. Там была правда девственности и правда страсти, правда богатства и нищеты, бережливости и транжирства, легкомыслия и самозабвения. Сотни и сотни правд, и все — прекрасные.

Шервуд Андерсон

Большую часть лета все-таки мы проводим в Дурбахе. Летом 1998 года мы делили с Женечкой одну комнату, обставленную как спальня: сдвоенная кровать, тумбочки, настольные лампы. Грецкий орех за окном причудливо распластал свои ветви. В последнее лето Женечка расположилась одна в маленькой комнате, хотя порой и радуется, устраиваясь вместе со мною в спальне. Из окна Женечкиной комнаты видны ярусы виноградников, («рай не может не амфитеатром быть»<sup>1</sup>) излом дороги, сосновая роща на холме. Одна из сосен, та, что особенно стройная, Женечкина любимая. Над соснами можно видеть восход солнца, тем более что дроздики на рассвете будят Женечку своим пением. Кровать, кресло, письменный стол, торшер. Мы строим планы: заниматься французским, писать потихоньку диссертацию, у Женечки с собой масса материалов по теме, привезенных из США. Сил только было мало, хватило их на одно занятие французским. Потом так и застыли на столе открытый учебник, словарь, тетрадь. Частенько Женечка упоминает о своем желании порешать какие-нибудь математические задачи. Задумываемся, к кому

---

<sup>1</sup> М. Цветаева. Новогоднее.

обратиться, кто бы мог прислать подходящий учебник, но так и не дозреваем до дела.

В июне назойливо куковала кукушка. Невольно считаем, пряча это друг от друга. Получалось всякий раз по-разному, но неизменно жутко. Сам этот звук был непереносим.

Женечкина изможденная фигурка в красной клетчатой пижамке, измученное, искаженное неотступной мукой бледное личико, нестихающая боль. Нежные тонкие пальчики. Повторяющаяся Женечкина жалоба: «Я немножко устала». Надо постоянно превозмогать себя: бегать, бегать все больше, делать приседания. Смотрим в окно на кухне: Женечка выходит из дома, намереваясь побегать: осматривается, примеряется, собирается с силами. В хмурой Женечке — решимость, укрощение вырвавшегося стога: «Зачем я два года мучаюсь!», никогда не изменяющая ей покорная грация жестов. И наплывает: «Моя маленькая, моя драгоценная, ты в светлом платье, таком верном, точном для всего твоего облика, твоей фигурки, твоей пластики, из застенчивости ты надеваешь сверху темную жилетку, но разве ей по силам скрыть твою непобедимую прелесть».

Сижу на лавочке у «Черного креста»; бреду по лесным дорогам. Вот сейчас встречу Женечку, вот она сама: по-детски прозрачное лицо, далекие глаза, приветственный, едва заметный жест рукой. Женечка подолгу спит или тихо, отрешенно лежит — это уход от невыносимой тяжести, муки.

Случаются просветления, всполохи радости: наши лесные путешествия, темные крупные фиалки, грибы с бархатными шляпками, жуки всех мастей, неистово яркие колокольчики вдоль дороги, волнующие птичьи перышки, приносимые Женечкой с прогулки. Первое птичье перышко Женечка нашла на повороте к хутору, на пригорке, усыпанном иголками от высоких сосен.

Перышко было шелковистым, сизо-серым, с яркими голубыми крапинками. Мы старательно обходили тучных, красно-коричневых рогатых гусениц, которые бесцеремонно преграждали нам дорогу. Мы нежны и внимательны ко всему живому. Нам встречается много ящериц, одна из них привлекает наше особенное внимание. Помнишь, Женечка, ту необыкновен-

ную, желтую с черным, роботообразную, что встретила нам у самого хутора? Теперь я знаю: то была огненная саламандра. Та самая, что живет в огне, как ты, Женечка, в том огне, что одновременно дарит и отбирает жизнь. «Огонь этот нуждается в пище, как упырь в свежей крови» (З. Миркина). Ты сама выделяешь людей с горящими глазами. Ты ведь из их числа, моя маленькая: горя и сгорая, ты дарила нам свет.

Особая радость — встреча с косулей. Помню, Женечка, ты вернулась из леса в восторге. Долго, не пугаясь, впереди тебя бежал косуленок и к тому же оборачивался время от времени, как будто затеял игру в догонялки.

А как-то ночью у нас под окном кто-то кричал и плакал по-детски, а наутро наш сосед Мюллер нашел в винограднике маленького косуленка, закутал его в одеяло и отнес в лес.

И мы долго переживали и обсуждали это событие, и Женинька сама мечтала в другой раз спасти косулю в винограднике. Однажды Женечка, придя с прогулки радостно-возбужденная, подробно рассказывает о потасовке дятлов, которые затеяли выяснение отношений на дереве и продолжили, свалившись на землю. А вот Женечку восхищает бабочка, прильнувшая к раскинувшемуся на кресле воздушному шарфику, разрисованному такими же бабочками. К сентябрю мы ждем урожай опять, заприметив прошлым летом грибное местечко на первом повороте по дороге на хутор. Опята там были непростые, опята-великаны, хоть косой коси.

По вечерам мы часто ходим в бассейн. Спускаемся у церкви, над нами кружит стая сильных птиц, играющих со светом. Женечка однажды: «Тебе стыдно со мной идти?» — о своих неотросших еще волосиках. Да, мне стыдно; я дала повод задать такой вопрос. Мне стыдно своего здоровья, своего возраста, своей не всецелой причастности к Женечкиной муке. Идем по Дурбаху. Курортный воздух, отдыхающие...

Стараемся не обращать внимания на их взгляды, но я время от времени срываюсь, отвечая взрывом бешенства встречающему нас недоумению (отсюда, конечно, и Женечкино предположение, что мне стыдно). Бассейн. Женечка плавает с закрытым, исполосованным горем лицом, несколько раз встает под



нестерпимо ледяной душ. Комментирует: «Женщины, глядя на меня с осуждением, думают: я бы так не могла, мужчины — с одобрением: вот так смелая девушка». Поднимаясь к себе на замковый холм, обыкновенно по пути отдыхаем на скамейке, молчим или обмениваемся впечатлениями о бойких дроздиках. Стоило нам сесть на скамейку, как, прежде спокойные, дроздики начинали летать вокруг нас, будто «слет» у них начинался.

Иногда совершаем прогулки в противоположном хутору направлении, от «Черного креста» к часовенке. Сначала идем по лесной дороге. Здесь всегда сумрачно, только на соснах яркие блики солнца, светло-желтые утром и багряно-красные вечером. По этой дороге мы чаще гуляем по вечерам. Потом крутой спуск выводит нас к виноградникам и фруктовому саду. Здесь можно лакомиться сливами и красной или черной смородиной, сидя на лавочке, любоваться открывшейся панорамой бесконечных холмов, селений под красными крышами. Потом опять подъем к самой часовенке, маленькой, кем-то заботливо ухоженной, всегда со свежесрезанными цветами перед Богоматерью.

На обратном пути вспоминаем Женечкину прежнюю работу, многократные командировки, чаще всего в Новосибирск, насмешливых и остроумных коллег-подружек. Никогда прежде Женечка не вспоминала так обстоятельно, подробно и окончательно, передавая мне на хранение свои воспоминания. Нестерпимая мука прощания; принятие распятия, длящегося, предстоящего.

Была еще одна дорога. Не доходя до часовенки, сворачиваешь налево, долго кружит дорога по холмам и выводит тебя на площадку, «мыс», как мы ее называли, обращенную на расстилающуюся внизу бескрайнюю долину, полную света и воздуха, окаймленную далекими горами. В этой долине лежит Страсбург, и в хорошую погоду можно видеть очертания кафедрального собора, всегда Женечку влекущего. И в первой Женечкиной квартире собор открывался взору вертикалью своей мощи, и во второй квартире был виден шпиль собора, и из окна больничной палаты можно было его увидеть, что Женечку при всем накрывавшем ее ужасе, воодушевляло.

Именно на «мыс» Женечка любила ходить одна.

Желая Женечке спокойной ночи, всякий раз надеюсь услышать: «Посиди со мной». Часто слышу. Сижу, массирую ноги, спину, глажу, целую голову, замираю от обращенного в неведомую мне бездну взгляда. Женечка как будто приняла свое одиночество, признала его как единственно доступное ей состояние, уже не пытаюсь его с кем-то разделить. Вера в родителей утеряна, они не могут спасти, убереечь, только порой — утешить, приласкать.

Уединение: уйди  
В себя, как прадеды в феоды.  
Уединение: в груди  
Ищи и находи свободу.

Чтоб ни души, чтоб ни ноги —  
На свете нет такого саду  
Уединению. В груди  
Ищи и находи прохладу.

Кто победил на площади —  
Про то не думай и не ведай.  
В уединении груди —  
Справляй и погребай победу.

Уединение в груди.  
Уединение: уйди,

Жизнь!

Мне хочется укрыть, поддержать Женечку цветаевскими строками, но я отчего-то не смею.

Однажды, прощаясь на ночь, я как-то вымученно, бессильно говорю: «Все будет хорошо». Ночью Женечка, почувствовав фальшь моих слов, приходит ко мне в комнату: «Ты не веришь?» А на одной из прогулок совсем доверчиво, как в прошлые, минувшие времена, спрашивает, да нет, не спрашивает, скорее

утверждает: «У меня ведь теперь не меньше шансов выздороветь, чем тогда?» (после первого цикла лечения)... И мое подтверждение, прячущее ужас.

Женечка по-разному примеривалась к болезни, переходя от шутиwego регистра к горькому. Порой Женечке казалось, что то были три разные болезни. Однажды она высказалась, что в первый раз ее вылечили, а потом пришла новая болезнь. Про первую болезнь Женечка говорила: «Чтобы я от Сечкина избавилась». Про вторую болезнь: «Чтобы я с Томасом не водилась». А про последнюю: «В третий раз заболеваю. Бог не хочет меня на земле». Непомерны эти слова для меня, в них нет богоборчества, есть доверие к жизни, Вера в Высшее Начало. Неужели здесь, на краю, может жить Вера?

Этим последним летом Женечка вдруг прильнула к заклинанию, к формуле, которую я все твердила в «первую болезнь», извлекая из нее какие-то силы и смысл: «Одержаньем одержанья победим свои страданья, и сомненья-озаренья» (Е. Марченко).

Моя излишняя, назойливая озабоченность, чем накормить, что приготовить. Рецепты из интернета, из книги «О вкусной и здоровой пище».

Женечка ест охотно. Особенно охотно — мексиканское блюдо «чили», рецепт которого мы раздобыли в интернете, пельмени, пирожки с мясом, тушеные овощи: пуще всех Женечка любила баклажаны — и есть, и готовить, и угощать ими, салатики из фруктов и арбуз. Как-то просит испечь простых коржиков. Ест медленно-медленно — общая слабость, недомогания отвлекают. Иногда тоска поднимает ее ночью. С бессонницей мы сражаемся по-разному. То сочиняем Женечке какую-нибудь ночную трапезу: фрукты или запеченные в духовке бутерброды, то ложимся рядышком, так, чтобы Женечкина голова лежала у меня на плече (любимая моя, нежная головка и сейчас у меня на плече), и уютно засыпаем. Непрочен был наш уют. Однажды колючим шаром возле нашего изголовья я почувствовала смерть. Она стояла требовательно и неподвижно. Засыпает Женечка обыкновенно и под мое чтение вслух. Читаю «Воспоминания» Герштейн, «Евгения Онегина», книгу Мориака о Прусте. Сама Женечка пытается читать на французском Пруста «Лю-

бовь Свана». И на телефонный вопрос нашей подруги: «Ну и как, получаешь удовольствие?» — Женечка дает задиристый ответ: «Еще какое!» У Женечки это называется «хорохориться».

Любим ветер, непогоду, дождь. Еще пуще — грозу, молнии. Ласточка влетает в окно спальни и в стремительном полете разбивается об окно в кухне.

Мы вспоминаем школу, первую подругу Элю Бучатцкую.

Женечка поджидала Элю на углу у дома, и они вместе, болтая, шли до школы. Эля мягкая, кроткая, у нее светлые пушистые волосы стянуты в хвост. Потом она будет долго, несколько лет болеть, перестанет ходить в школу, станет учиться дома. И светло присутствует в Женечкиной жизни: порой Женечка помогает Эле готовить уроки, порой они ходят на концерты. А позже заболит Элина мама и умрет от рака. А Эля выздоровеет, расцветет, превратится в привлекательную девушку. Мы вспоминаем Элю и ее маму, и нам в голову приходит одна и та же мысль. И я бормочу: «Хорошо бы и нам так поменяться». И Женечка нечаянно откликается: «Я бы не расцвела». А потом долго терзается, что допустила такую возможность, извиняется, пытается загладить допущенную по ее мнению бестактность.

И смеялись мы в последний раз в Дурбахе, вспоминая отдых Женечки с подружками в Тарусе, а потом в Пярну. Вспоминаем, как Женечка в первое рабочее лето ездила на два дня в какой-то подмосковный дом отдыха и там долго-долго гребла на лодке, гребла и была почти счастлива.

Дурбах не потускнел, но мы в коконе беды и, выглядывая наружу через щелочки в нем, видим мир то оскудевшим, то ослепительным, но чужим. Нам естественнее смотреть в себя, хотя ощущаемая нами мимолетность жизни и наделяет пронзительностью краски, звуки, запахи, роднит с деревьями, цветами, травами, роднит со всем живым, таким же мимолетным. Дурбах то наполнял нас собой, то исчезал с лица земли вместе с нами. Полнота и пустота крались за нами по пятам, то сливаясь в одной точке, не оставляя зазора, то явственно расплзаясь как клочья тумана и беды, оставляя нас раздраженными, ожесточенными.

Случались и взрывы. Женечка: «У вас всегда был культ страдания, вот и страдайте теперь, сколько влезет!» И в другой раз взрыв, обращенный ко мне: «Ты так много говорила о самосовершенствовании, так где же твое бесстрашие?» Это после встречи с коллегой Паулой, чью раскрепощенность и пылкое сочувствие Женечка готова была принять за бесстрашие. Слова эти прожигали — в них была правда.

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд  
И руки особенно тонки, колени обняв.  
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад  
Изысканный бродит жираф.

Николай Гумилев

Женечкино бесстрашие — я говорила о нем, и хочется говорить еще.

Оно запечатлено на фотографии, сделанной в калифорнийском Диснейленде. Женечка с подружками на каком-то «смертельном» аттракционе. На напряженных лицах — веселый ужас, а обычно сутулившаяся Женечка сидит с прямой спинкой и невозмутимым лицом. Женечка гордилась этой фотографией, запечатлевшей ее стойкость. Увы, эта фотография где-то затерялась, но я ее помню, и этот миг хранится во мне в мельчайших подробностях; помню бусы на Женечкиной шее из венецианского стекла. Эти бусы я привезла Женечке в подарок из Венеции. А сама Венеция, вместе с Римом и Флоренцией, иначе говоря, тур «классическая Италия», был баснословным, невероятным, вымечтанным Женечкиным подарком мне к пятидесятилетию. И Женечкиным напутствием мне были строки Бродского:

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле  
под открытым небом, зимой, в одном  
пиджаке, поддав, раздвигая скулы  
фразами на родном.  
Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней  
мелких бликов тусклый зрачок казня  
за стремленье запомнить пейзаж, способный  
обойтись без меня.

Ко мне, собственно, относилась последняя фраза, а первая — как раз к Женечке, собирающейся побывать в Венеции зимой, на Рождество. Такое было в Женечкином характере — отдать, подарить в первую очередь то, чего особенно сильно хотелось

самой, — побывать в Венеции. «Еще успеется», — говорила о себе Женечка, утешая меня, смущенную и восхищенную Женечкиным великодушием и благородством, не смеющую принять такой подарок и не смеющую отказать Женечке в праве и радости дарить и все равно огорченную тем, что принимаю, а не дарю сама эдакое чудо. И эти прекрасные бусы, они прикасались к тебе, Женечка, они обнимали тебя, и я, долго ими любовавшаяся, любовавшаяся тобой, Женечка, в этих бусах, теперь с ними не расстаюсь, прикасаясь через них к тебе. Когда речь шла о радости, комфорте, развлечениях, Женечка всегда безоглядно настаивала на моем первородстве. Когда пришла мука, Женечка взяла ее на себя.

Совесь, благородство и достоинство —  
Вот оно святое наше воинство.  
Протяни ему свою ладонь —  
За него не страшно и в огонь.  
Лик его высок и удивителен,  
Посвяти ему свой краткий век.  
Может, и не станешь победителем,  
Но зато умрешь как человек.

Булат Окуджава

Как-то Женечкин отец собирался ехать в Москву, и я начала настойчиво перебирать, что бы нам такое из Москвы следовало бы перевезти сюда.

Женинька меня останавливала, но я упорствовала, перечисляя одну вещицу за другой, и остановилась лишь после Женинькиного резкого: «Довольно, больно ведь». Не было у Жениньки ни одного живого места, болело все.

Мы жили в надежде, ужасе и ожидании (нами владела надежда, по сути не отделимая от ужаса). Не было никакой ясности, что делать, как лечиться, если болезнь вернется. В какой-то миг в Женечке возобладали сопротивление, готовность к борьбе. Женечка связывается с несколькими врачами, рассылает свой эпикриз, выслушивает их просвещенное мнение, получает сведения о возможных донорах костного мозга, договаривается об очных консультациях. Однажды Женечка обстоятельно беседует по телефону с говорящим по-русски немецким врачом, выясняя все детали возможного лечения. Речь идет о трансплантации костного мозга от донора, о вероятности успеха, о длительности лечения, о возможных осложнениях.

Женечка даже осведомляется у доктора: «А можно ли будет бегать после такого тяжелого лечения?» На что доктор, усмехнувшись, отвечает: «Это будет зависеть от вашей воли», но, думаю, уже составив представление о Женечкином характере. Подытоживая разговор, доктор предлагает Женечке подписать контракт, полагая вопрос о лечении решенным. Не знал тот



доктор, что все решения Женечка принимает сама. Неожиданные последствия имела та беседа.

С лесной прогулки Женечка пришла с готовым решением: «Все, больше никакого лечения, никакой химии. Обещай мне, что, если я буду в бессознательном состоянии, ты не допустишь, чтобы мне делали химию».

Женечка приводила и частные аргументы, вроде тяжести и длительности лечения при малых шансах на успех, но главным здесь, я убеждена, было другое. Почему-то борьба за жизнь стала казаться Женечке мелкой, недостойной, унижающей, созрела готовность отдаться судьбе. Да, лечение оборвано как вызов мнимому превосходству «нормы хотя бы над самым прекрасным казусом» (М. Цветаева).

Порой Женечка говорила: «Никто не уважает, не ценит мои муки, страдания, боль. Каждый день я живу как последний». Женечка рассказывала, что у мамы ее школьной подруги было удалено легкое, и вспоминала, какое восхищение испытала по отношению к этой женщине, увидев ее. Камю где-то написал: «Людей не убеждают страдания, их убеждает только смерть». Готова ему возразить: смерть, чужая смерть тоже не убеждает. Это нелепая, хоть и пугающая абстракция, каждый полагает, что это не о нем, с ним такого случиться не может.

Тот разговор с врачом стал последней каплей, переполнившей чашу неуважения, и подвел черту. Гордость Женечкина взбунтовалась. Трудно мне было принять это, смириться с Женечкиным отказом от лечения. Женечка, приводит последний довод: «Помнишь, я тебе сказала: сделай операцию, а ты возмутилась в ответ. И на что я была наглая и спесивая, а приняла твой выбор. Вот и ты прими, уважай мой».

Случилось это где-то в июле, при сравнительно неплохом самочувствии, при сносных еще анализах. Господи, и я еще жаловалась когда-то на пустышные недомогания, огорчала, тревожила Женечку. Однажды выяснилось, и это поразило меня пристальностью Женечкиного внимания ко мне: она считала, что я боялась болезни, смерти, пока не переросла возрастом маму, умершую в сорок три года.

Женечка следит по телевизору за поисками семьи Кеннеди. С удовлетворением отмечает, что пропавших считают живыми и упоминают о них в настоящем времени, пока они остаются не найденными. Не считает нужным скрывать интереса к тому, как же их будут хоронить — родные пожелали развеять прах над океаном — и как же им в таком случае будут ставить памятник.

Женечка благодарна и самому Клинтону. Он в какой-то своей речи особо, с состраданием, призывая и других к нему, упомянул больных, проходящих лечение химиотерапией.

Женечку долго беспокоит загадка: двухтысячный год — это конец тысячелетия или начало нового? И потом, осененная, торжественно объяснила мне, непонятливой: «Ну, конечно, это конец века». «Век скоро кончится, но раньше кончусь я», — будто виделась и была важна Женечке прямая, абсолютная причастность к этим словам Бродского — звучавших как напутствию ее взлету.

Однажды за вечерним чаем, после непростого дня, как будто итожа что-то, Женечка заводит разговор о моей удовлетворенности профессией, о том, кем бы я вообще хотела стать, если бы начинала сначала. Я была поражена и благодарна: найти в себе силы для столь отвлеченных вопросов... А ведь я и вправду порой скучала по работе, по какому-нибудь делу, отдавая себе отчет в подлости этих мыслей. Теперь знаю: Женечка неспроста заговорила тогда о моей работе. Как мама спрашивала меня при нашей последней с ней встрече в больнице, на кого я пойду учиться после школы, так и Женечка хотела ведать о моей жизни без нее, без Женечки, как будто может быть такая жизнь... Жизнь, а не агония.

Пока ты была со мной, мое Солнышко, многое мне было интересно и важно: и люди, и книги, и деревья, и фильмы... Да и смысл происходящего брезжил где-то на горизонте, и можно было идти и идти ему навстречу. И одиночество (нет, не одиночество, а уединение) я любила. И во всех моих человеческих отношениях ты, Женечка, присутствовала, участвовала не только одобрением или осуждением, а всей своей сущностью.

Я сама была у себя, пока ты была со мной. Мое мнимое самостояние, его не было никогда. Без Женечкиного взгляда, оценки, слов ничего не существует. Весь мир воспринимается только через нее. Не часто, нет, ибо боюсь тревожить, когда невмочь, совсем невмочь, я и теперь зову: «Женечка, солнышко, помоги». И подхватывает и несет меня поток Женечкиной непомерной любви.

Теперь важно одно, но это одно вмещает все: «Что такое смерть? Где ты теперь, моя маленькая?» Я жду понимания, прозрения, мне одной адресованного, для меня одной имеющего смысл. По правде, я не надеюсь обрести смысл, не верится, что он может быть нам, смертным, открыт. Порой я неустанно повторяю: «смерть, смерть, смерть» — не знаю других возможностей глубоко заглянуть в смерть, быть втянутой в воронку. Мнится, что ответ может быть обретен где-то в глубине души, и только там.

А сегодня, в этот летний вечер, мы еще живы и хорохоримся, и строим друг другу гримасы — кто кого перещеголяет, и ловим в эфире полюбившийся Женечке этим летом шлягер «Мамба № 5», и пританцовываем под его зажигательную мелодию.

Иногда Женечка выходила в интернет и меня брала с собой. Из всех соблазнов, коим несть числа в этом мире, мою маленькую волновал в последнее время лишь один — путешествия, поездки... Словно перемещения в пространстве могли компенсировать жестокую ограниченность времени пребывания на земле, безотчетно ощущаемую даже в светлые периоды.

Мечталось Женечке поехать в Прагу, «город детской сказки», где мы с Женечкой были, когда ей было четырнадцать лет, расколдовать его после не вполне удачной второй поездки. Но это потом, а сейчас Женечку тянуло куда-нибудь к морю: к ласке, покою, неге, музыке прибоя, лунной дорожке на воде.

Мы сидим у компьютера и обсуждаем найденные варианты. Наконец останавливаемся на маленьком местечке в Италии неподалеку от Равенны.

Женечка заказывает неделю отдыха в начале сентября, и мы рассматриваем карту, раздумывая, как же лучше туда добратъся. Поначалу Женечка намеревалась отправиться в путешествие

одна. И речь порою заходила о поездке в Венецию. И все-таки в Венеции Женечке хотелось встретить Рождество. По словам Бродского, «В Рождество приятно смотреть на воду, и нигде это так не приятно, как в Венеции. Дух Божий носился над водою. И отразился до известной степени в ней — все эти морщинки и так далее...» А сейчас Женечке хочется к летнему морю. И мне хотелось, чтобы Женечка побыла одна и почувствовала бы свободу, не стесненную тягостным родительским надзором. Родительские ожидания, огорчение, раздражение (даже оно случилось, если иной раз Женечка не справлялась с возложенными ею на себя обязательствами) давили на Женечку, еще больше нарушали ее душевное равновесие. Все же Женечка признает: поездка в одиночестве ей сейчас не по силам.

11 августа — день солнечного затмения. В этот день мы с утра едем за продуктами, здесь на площадке возле магазина Женечка проявляет интерес к знаменательному событию, смотрит через специальные очки на прячущееся солнце. По возвращении к нам на замковый холм, где собралось множество любопытствующих, спешит домой: укрыться от всего внешнего, уйти в себя, в свою отдельность.

Идет август, и сил у Женечки не прибывает, скорее напротив: бегать становится труднее, и там, где лесная дорога идет в гору, Женечка переходит на шаг. Мы находим тому объяснение: это опять упал гемоглобин, такое уже бывало... Но очередной анализ показывает, что снизился не только гемоглобин, но и остальные элементы крови, и, что особенно тревожно, снизилось количество лейкоцитов. Доктор сокращает расстояния между визитами, что исключает нашу поездку в Италию. Нас начинает трясти, следующий анализ назначен на тринадцатое сентября.

Сентябрь. Мой день рождения, которого я научилась за три года страшиться. Женечка утром, входя ко мне в комнату: «За готовность Авраама принести в жертву Исаака — единственного сына — дано ему Божие благословение». Женечка рада бы подарить мне свою жизнь. Может быть, мне как раз и не доставало этой готовности, и был мне за то дан урок, страшнее которого нет.

Утро одиннадцатого сентября. Женечка с дурбахского огорода, возделываемого отцом, звонит доктору Шкловскому, только что вернувшемуся из отпуска. Осведомляется, состоится ли конференция, по теме которой писала тезисы, интересуется, поедет ли на нее доктор. Приглашает доктора в гости. О чем я? О Женечкином самообладании, стойкости, доверии к доктору Шкловскому.

Вечер одиннадцатого сентября. Женечка в своей маленькой дурбахской комнатке, в кресле. Обнимаю. Неожиданно горячие коленки. Нет, не может быть. Выхожу из дома, бреду по дороге, прощаюсь с Дурбахом, с надеждой.

Меряем температуру — 37,8. Оказывается, уже несколько дней болит горло.

Нет мотива стрелять в какого-то определенного человека, есть только один мотив — стрелять.

Аксель Сандамусе

Тринадцатое сентября. Покидаем Дурбах, сдаем анализ крови: 8 % опухолевых клеток, глубокая цитопения. Женечка спокойно:

— Я это знала.

Я взрываюсь неистовым воплем:

— Женечка, хочу говорить с тобой!

— Еще поговорим.

И мое непростительное:

— Но у нас осталось мало времени!

Эти слова Женечка пропускает, не снисходит до них. В этот день Женечка сосредоточенно, вне суеты, стремительно, как собиралась когда-то в командировки, наводит порядок в чуланчике (в остальных комнатах и без того порядок, как это водится у Женечки), собирает и выбрасывает письма со словами «освобождение от энергий», на своей полке в красной тумбочке оставляет лишь желтую папку, в ней мои письмо и записка в больницу, статья по теме диссертации, тетрадь с конспектами научных работ и все документы. С помощью отца переставляет кровать подальше от двери, ведь придется много времени проводить в постели... Стрижет отца, мне делает косметическую маску, пока есть силы... Собранная, уравновешенная. Сравниваю, пытаюсь понять, что же и как надо после себя оставить, впадаю в панику, мысли, движения постыдно хаотичны, бессмысленны, судорожны.

Телефон Женечка отключает вовсе. Я включаю его только тогда, когда звонить надо мне самой или когда мы ждем звонка терапевта. Отец едет с результатами анализа в госпиталь. «Ничего страшного, — говорят ему. — Мы сделали все, что могли».

Пятнадцатое сентября. Визит к доктору Мульвазелю. Завидев, бросаемся к нему, опередив Женечку. Он что-то бормочет, он еще не готов высказаться до конца, ясно одно — это рецидив. Женечка взрывается: ей нестерпима наша поспешность, суетность, мы сбили ее, нарушили внутренний настрой, теперь Женечка не знает, с чем ей идти к врачу, она убегает из приемной.

Разыскиваю Женечку, прошу прощения, ласкаюсь, успокаиваю, как могу.

Доктор Мульвазель направляет Женечку на пункцию костного мозга, назначает переливание крови. После переливания температура спадает. Женечка чувствует себя лучше, распрямляется, наполняется надеждой, вслед за Женечкой распрямляемся и мы. «Отчаяние взлелеет тень надежды». Мы надеемся, мы уповаем на то, что это, быть может, какая-то иная форма болезни, не такая свирепая, хроническая что ли.

На другой день пункцию костного мозга у Женечки брала молодая врач Алина, казалось бы, дружелюбно к нам настроенная девушка, обыкновенно беседовавшая с Женечкой на разные, не только медицинские темы. После взятия пункции рекомендуется полежать в горизонтальном положении около часа, что может предупредить последующую боль. Женечка многократно сдавала пункцию и прекрасно об этом знала. Но вот впервые милая девушка Алина забыла предложить Женечке полежать этот час в кабинете. И то не была случайность по Женечкиному мнению, которым она поделилась со мной дома, превозмогая боль. Алина уже знала о Женечкином состоянии еще до результатов пункции и полагала, что человека уходящего щадить не к чему.

Господи, да откуда же такая звериная жестокость! Они все не только не щадят уходящего, они становятся жестоки вдвойне, срабатывает инстинкт: «слабого еще толкни». Жестокость к поверженному возрастает: добить, добить скорее, беспощаднее. Эта молодая девушка Алина действовала так неслучайно, ею руководил царящий в отделении дух. Чего церемониться с пропавшим?! Ату его! Законы охоты.

Поддерживая надежду, изгоняя ужас, Женечка увлекает меня в парк.

Стоят солнечные теплые дни. Наши прогулки по парку, сосредоточенные, безмолвные. На Женечке джинсы, синяя кофточка, сумка через плечо, легкий стремительный шаг. Мы запасаемся бутербродами и старательно потчует друг друга, сидя где-нибудь у воды: то у маленького, милого в своей скромности озера, то у большого, где всюду плещется, выпрыгивая из воды, крупная рыба. Идет теплый дождь, прогоняющий нас в укрытие под деревом.

Однажды мы шагаем по аллее, и я напоминаю Женечке о назначенной еще в июле на двадцать третье сентября консультации в парижском госпитале.

Говорю нудно, чувствуя обреченность на неуспех. Женечка, омрачаясь, немногословно отказывается. Дождливый днем пьем чай в парковом павильоне.

Женечка возвращается к минувшему разговору, утверждая свою позицию.

«Больше никаких больниц, я не хочу быть меньше, чем я есть. Я не хочу терять последнее, что у меня осталось — собственное достоинство». И я, на миг поднявшись на Женечкину высоту, понимаю и принимаю. Женечка благодарно: «Я рада, что я не одна. Я думала, меня никто не может понять. Все правильно, кто же еще, кто бы оценил?» Болезнь, муку. Последние слова Женечка не произносит, они лишь подразумеваются. И мое восторженно-просветленное — на признание Женечкой посланных ей мук, в рост ее натуры: «Ты не ропщешь?» Осознаю, наконец: Женечка ведь никогда не роптала, не торговалась с судьбой: «Почему страдаю я, а не кто-то другой?» Пыталась понять, зачем ей такое послано, но вне примеривания, переключивания и сравнения своей участи с другими. И в этом Женечка была самодостаточна. Надеялась выздороветь, противостояла, как могла, сгибалась под тяжестью груза и распрямлялась, но не роптала. Женечка приняла свою болезнь, в этом ее величие и мудрость, а для меня урок, и по сей день недоступный.

Двадцать третье сентября. Очередная консультация у доктора Мульвазеля. Он располагает результатами пункции костного мозга, не скрывает тяжести Женечкиного состояния и предлагает два варианта возможного лечения. Один из них —



ежемесячный четырехдневный прием некоего препарата. Этот вариант не радикален, он может продлить жизнь. Другой, радикальный вариант — пересадка костного мозга от родителей — имеет вероятность успеха 5 %. Женечка уклоняется от решения, говорит, что подумает. На раздумья Женечке дается неделя. Возвращаясь из госпиталя, Женечка приобретает велотренажер. В ясную погоду по вечерам Женечка понемножку бегаёт по парку, а в дождливую я с радостью слышу дома стук педалей. Женечкина воля при ней: «Делай что должен, и будь что будет».

Однажды Женечка с гордостью сообщает мне, что накрутила 10 километров.

Двадцать девятое сентября. Женечка наносит визит доктору Мульвазелю, как оказывается, — последний. Женечка отказывается от предлагаемого лечения, соглашаясь лишь на переливания крови. Женечка не верит доктору Мульвазелю. Как подтвердилось позже, не верит справедливо, ибо он сам не верит в успех, полагая Женечкин «случай» безнадежным и сообщая об этом Женечкиному терапевту, а та со временем — нам. Увы, Женечкино недоверие к доктору зародилось давно — из его жонглирования процентами успеха-неуспеха, а главное, из отношения к человеку как к статистической единице. Как говорила Женечка еще раньше: «Для них любой результат интересен, подойдет либо для одной, либо для другой папки». И, проговаривая дома возможный ход разговора, возможные аргументы доктора Мульвазеля, Женечка вопрошает: «Что он может мне сказать? Что я умру... Ну, так я отвечу, что и он умрет». Но вопреки Женечкиным опасениям доктор Мульвазель не настаивает, не запугивает чрезмерно, о смерти упоминает вскользь, мол, и такое бывает. Не веря в успех, достаточно легко принимает Женечкин отказ от лечения, и что-то похожее на сочувствие читает Женечка в его глазах.

И хочется понять: кто, как не лечащий врач, может убедить пациента продолжить лечение?.. Разве это не святая его обязанность — длить жизнь?

Ибо каждый день может появиться новое спасительное лекарство, каждый день в больном могут открыться новые вну-

тренные резервы, произойти душевный переворот, поднимающий его на другую, высшую ступень бытия. А вместо этого лечащий врач доктор Мульвазель, не пытаясь убедить Женечку в необходимости продолжать лечение, не пытаясь вдохнуть в нее веру в успех и не видя в Женечке живую, юную девушку (но не живы те, кто не видит живых в других), а причислив Женечку к группе «пропавших» (это ли не предательство!), сообщает семейному доктору о бесполезности лечения. Что же это за безразличие к человеку, волею судьбы столь тесно с тобою связанному, прошедшему на твоих глазах страшные испытания и муки?!

«Человек умирает не от болезней, а от тайного решения не оказывать им сопротивления» (Ю. Нагибин). Вот к чему и подводит своих «неперспективных» больных доктор Мульвазель. И недаром Женечка, вернувшись домой, подводя черту под своими отношениями с доктором Мульвазелем и иже с ним, говорит: «Я им не верю, они все обманщики».

Обвиняю, упрекаю врачей. Они не сделали всего возможного, они не воспользовались всем арсеналом средств лечения, они не приняли в расчет свой собственный прогноз, сделанный ими после комы и указывавший на то, что надо продолжать лечение, не дожидаясь рецидива; они не привлекли для консультации или консилиума ни одного врача из другой клиники и не направили на консультацию нас. Из четырех центров мы получили информацию о том, что у Женечки есть потенциальные доноры костного мозга. Страсбургские врачи, однако, сообщили нам, что подходящего донора нет, долго избегали объяснений, а когда снизошли до них, то сделали это настолько невнятно, что мы их не поняли. Да и поведение всего этого медицинского коллектива иначе как агрессивно-оборонительным, кощунственно-эгоцентрическим, ищущим престижа в рамках своих узко цеховых интересов, не назовешь. Они все время уклонялись, ускользали от общения с нами, родителями, или отбрасывали нас своей гневливостью как мешающих им работать. И невыносимо понимать: жизнь людей для них незначима, вторична, ибо для них приоритетны эксперимент, собиранье статистики, то есть их абстрактный медицинский опыт и

непоколебимость личных амбиций. А главное, они не сделали все возможное, чтобы вылечить Женечку! Носить в себе такое знание невыносимо!

Это о чужих. Еще мучительней, еще невыносимей другое. Разве каждый из нас, близких, начиная с меня, сделал все возможное и невозможное, чтобы спасти Женечку? Нам было проще и естественнее страдать, страдать люто, чем бороться и удерживать Женечку на земле. И сколь бы мы ни просили у Женечки прощения, его не может быть. Имею в виду не Женечкино умение прощать, а прощение Высших Сил, и потому Женечкина посмертная ангельская обитель не для нас. Хотя понимаю и то, что для встречи с нами, жалея, тревожась за нас, благородная Женечка готова была бы пожертвовать райскими кущами и соединиться с нами, пусть даже в ждущем нас аду. Так выходит по нашим представлениям о посмертии. Какие же порядки на том свете неведомо нам. Окажемся там, что-то узнаем, но каждый узнает свое.

Уже распрощавшись с доктором Мульвазелем, Женечка, передавая мне по телефону состоявшийся разговор, встречает его вновь, что вызывает у Женечки приступ веселья, адресованного доктору. Он должен видеть и запомнить Женечку веселой и бесстрашной. А на обратном пути Женечка заказывает нам пятидневную поездку в Ниццу.

Как легко нам дышать,  
 оттого, что, подобно растению,  
 в чьей-то жизни чужой  
 мы становимся светом и тенью  
 или больше того —  
 оттого, что мы все потеряем,  
 отбегая навек, мы становимся смертью и раем.

Иосиф Бродский

Мы летим в Ниццу. Самолет — это тоже твоя территория, Женечка. Твоя уверенность, раскованность, дорога в неизвестное, твой полет над облаками, над горными вершинами. Ты любишь летать, это всегда твое собственное движение, твой порыв и прорыв.

В Ниццу Женечка уже возила родителей в 1997 году, желая отметить здесь свое двадцатипятилетие. Женечка много времени проводила на пляже, загорала и так обгорела, что едва ходила. Женечкина матово-белая голень в форме удлинненного веретена, первой сгорала на солнце и потом, когда спадала возбужденно-розовая воспаленность, становилась слегка шершавой.

Так натянута-матово мерцала кожа над близкой косточкой, что немного страшно было за эти хрупкие сооружения. Покатые коленные чашечки... Твои ножки, Женечка, как они были прелестны! Какое имели «необщее выражение».

Женечка была сама заботливость. Нежила нас, кормила, занимала, побуждала к прогулкам, к походам в музей Шагала, дом-музей Матисса. Мы ездили в Марсель, на родину графа Монте-Кристо, в Грас к Бунину, в Канны, где мы фотографировались на знаменитой каннской лестнице, в сказочный Монте-Карло... Даже до Италии тогда доехали, во всяком случае границу пересекли, правда, до итальянского побережья не добрались, сил не хватило. Мы многое увидели за неделю. Жизни оставалось мало, надо было спешить, отведать земных яств.

Однажды мы с мужем оставались на пляже, и Женечка принесла нам туда сэндвичи. Именно тогда под бременем этой, казалось бы, малой заботы, малой на фоне всех тех больших, всю поездку и всю жизнь расточаемых нам Женечкой, обдало меня тем самым страхом, уже ведомым, но еще невнятным: «Так не бывает. Здесь на земле так не бывает, чтобы дети так баловали своих родителей, так напропалую расточали бы себя». Сейчас вспоминаю и договариваю, тогда не додуманное. Была в Женечкиной заботе какая-то чрезмерность, рвущая душу. Одаривала безоглядно, имея к тому призвание, отдавала больше, чем брала, и истаяла, отдала себя всю. Ибо уходит первым тот, кто умеет отдавать.

Ты одаривала нас любовью, великодушием, благородством, пребывая на земле, и продолжаешь одаривать, уйдя к звездам и своих близких и тех, ставших близкими, кто получает помощь от фонда АдВита, возникшего под сенью твоей любви и посвященного тебе.

Ницца 1999 года после дождя. Море в сети солнечных бликов. Звуки прибора, заглушающие твои стоны, так что их можно не прятать; вода, родственная твоим слезам, из-за них она не выйдет из берегов; вода, омывающая раны, смывающая все чужое, ненужное. Дыхание моря в лад с твоим дыханием; ласковое, убаюкивающее покачивание на его волнах; слияние с его безбрежностью, непостижимостью; поглощение твоего мрака и ужаса, твое освобождение. Моя Женинька, моя маленькая, моя бесконечно любимая Женинька. Ты не плачешь, ты молчишь о том, что разрывает сердце.

Женечка уверенно ведет меня в чертоги гостиницы. Долго и сладко спим. Обедаем в китайском ресторанчике. Нам нравится здесь, и обеды наши с этого дня проходят в нем. Всякий раз за столиком напротив — человек с лицом пророка, человек с «горящими глазами», однажды видим, он передвигается на коляске.

Доходим по набережной до скалы, пересеченной причудливыми аллеями парка. Поднявшись по одной из них, оказываемся заключенными в лабиринте парка-скалы, многочисленные ворота которого запираются в урочный час, как раз после того,

как мы вошли. Долго, терпеливо и радостно блуждаем по лабиринту от одних запертых ворот к другим. Мы не чувствовали себя заблудившимися, беспокойства не было, наоборот, мы были ближе к покою, чем обычно, за все последнее время. Мы были неприкаянными, потерявшими себя и свою муку. Блуждали до тех пор, пока какой-то сердобольный человек, живущий здесь, не выпускает нас на волю. Мы оказываемся среди узеньких улочек и увенчанных соборами многоугольных площадей старого города. Ужинаем в пиццерии на площади и, плененные, каждый вечер теперь бродим здесь. Утром лежим у моря. Женечка с прекрасным, тихо сияющим лицом, перешагнувшая порог, разделяющий жизнь и смерть. Глаза обыкновенно закрыты, отгородившись от людей, слушает себя и море. Потом будет сожалеть, зачем все время закрывала глаза. Порой подзывает служащего переставить тент, прямое солнце Женечку беспокоит. По-детски бросает в море камушки-блинчики. Забреедем в старый порт, загадываем в другой раз поплыть отсюда на Корсику. Бросаем монетки в море, хотим приехать сюда еще.

На открытом трамвайчике едем с экскурсией по городу, поднимаемся на вершину скалы-лабиринта, где бродили в первый вечер, не находя выхода.

Оказываемся на смотровой площадке: под нами синеватая бухта и весь город. Спускаясь вниз, держимся за руки — оберегаем друг друга.

Женя однажды сказала мне, что помнит руки знакомых людей. А я помню руки Женечки. Тоненькая кисть — очень розовая и продолговатая, узенькая в запястье и расширяющаяся к костяшкам. Форма скорее удлинненно-трапециевидная. Костяшки очень нежные и почти утопленные, не покрытые сеточкой морщин. Удлиненные и нежно прозрачные перепоночки между пальчиками удивительно атели на просвет. Пальчики длинные и на концах необычно долго и плавно закругленные. Лунки ногтей беленькие, совсем-совсем крошечные и детские. Ноготки обкусаны (с детства была у Женечки такая привычка), но очень ровно. Заусенцы Женечка старательно удаляла «голубенькой штучкой». Большой палец как раз небольшой и очень грациозный. Женечка умела как никто другой — необычно

сильно — выгибать его лебединую шею и часто в задумчивости смыкала четыре пальчика вместе, отпустив большой на волю. За счет длины пальцев и узости ладони Женичкина кисть казалась очень длинной. Женичкины руки не бросались в глаза, она никогда не делала руками подчеркнуто-грациозных движений: только занявшись чем-то, изумительные Женичкины руки обращали на себя внимание.

Мы тревожные, светлые, пронзенные мгновением, отринувшие безнадежность. «Какая ты добрая и терпеливая», — говорит мне однажды Женечка с самоотверженной улыбкой. Как я благодарна тебе, Женечка, за эту ласку. На обратном пути Женечка с восторгом заглядывается на заснеженные Альпы.

Каждый человек — всегда рассказчик историй, он живет в окружении историй, своих и чужих, и все, что с ним происходит, видит сквозь их призму. Вот он и старается подогнать свою жизнь под рассказ о ней.

Жан-Поль Сартр

По возвращении, вечером того же дня, Женечка, не давая себе спуска, отправляется побегать в Оранжери. Приходит домой с измученным, потемневшим лицом: температура, озноб. Врач-терапевт прописывает жаропонижающие пилюли и антибиотики. Прижавшись друг к другу, лежим на Женечкиной кровати. Внезапно Женечка вскидывается: «Давай выберем фотографию (посмертную), у меня две на примете». Отвергаю с необычайной для меня решительностью: «Давай проживем сколько осталось спокойно, перед вечностью все сроки равны». Женечка с готовностью принимает, должно быть, ее убеждают не столько сами слова, сколь несвойственная мне решительность. Этот приступ болезни за неделю удалось погасить.

Предстоящие переливания крови Женечка решает делать в другой клинике, расположенной по соседству, да и встречаться с доктором Мульвазелем вновь Женечке «облом». Новый врач несколько обескуражен ее отказом от лечения; он пытается что-то осторожно предложить, но вскоре отступает. В конце концов, он не несет ответственности за столь «запущенный случай» и готов согласиться на регулярные переливания крови.

В этой клинике переливание крови Женечке делают в большом зале, тут же амбулаторно проводят и химиотерапию онкологическим больным. Мы с Женечкой задумываемся о тех, кто получает здесь свою «химию». Я замечаю, прежде всего, бодрость и жизнелюбие этих людей. Женечка же разделила их по возрасту: на пожилых, принимающих свою участь как естественную, и молодых, пытающихся спрятать свое отчаяние. Приметили мы — именно в силу его молодости — одного



юношу, сидевшего неизменно с книгой. Женечка поведала мне о нем, что он живет в семье, прикрыт и защищен ею, насколько это возможно, учится, путешествует. Мы не знали, конечно, как у него обстояли дела, и все-таки рядом с нами он казался достаточно благополучным, если такое слово здесь вообще уместно. А о женщине, довольно молодой, свежей и нарядной, Женечка заключила как о потерянной, утратившей свой обычный мир и другого не обретшей.

Болезнь дала нам недельную передышку. Женечка понемножку лежит, понемножку сидит в кресле, иногда перемещаемся в гостиную на диваны. Читаю вслух рассказы Кортасара, английские сказки. Сказки нам очень нравятся. Первую сказку, «Медный кувшин», я начинаю читать вслух, а Женечка заканчивает уже сама, и, когда я интересуюсь, чем же там все закончилось, интригуяще отвечает: «Дочитаешь и узнаешь». Со сказками так уютно — все необычное, страшное на миг сосредотачивается в них, а нам остается покой и безмятежность. «Жаль, что их не так много», — замечаю я.

Женечка — в ответ: «Спасибо, что они у нас есть». Сама Женечка читает Библию, по главке в день. «Больше в голове не укладывается», — комментирует маленькая. Однажды принимается за вышивание (приобретенное когда-то для меня, но мною не освоенное) и с присущей Женечке тщательностью ровными стежками стелет зеленый газон перед задуманным замком. Однажды слышу короткий перестук педалей тренажера. Женечка подолгу сидит в кресле, запрокинув голову, закрыв глаза. Мне хочется Женечку чем-нибудь занять, хотя теперь понимаю, что ничего важнее взглядывания в себя, в свою глубь — нет. Женинька как-то просит: «Хорошо бы какие-нибудь художественные альбомы и хорошо бы музыкальные диски, но чтобы была не оркестровая музыка, а сольное исполнение». Сольное исполнение просила Женечка — хотела слышать одинокий голос человека, столь же одинокого, сколь и Женечка. Приношу виолончель Ростроповича, скрипку Менухина и классическую гитару Лагойи. Слушаем не часто и с большим удовольствием виолончель. Порой смотрим маленькими порциями телевизор, и лишь раз — целый фильм от начала до конца: «Однажды

в Бронксе». Он напомнил Женечке любимый с детства «Однажды в Америке». В то время в городе шел «Молох» почитаемого нами Сокурова. Женечка отправляла меня посмотреть: «И сама отвлечешься, и мне расскажешь». Часто вспоминаем. Лучшие годы — школьные. У Женечкиной подруги Оксаны — уютный дом, дружелюбные родители. Женечка подолгу живет у Оксаны летом на даче. Девочки вместе ездят в любимое Коломенское, ежедневно прогуливаются по бульвару. Там у Женечки с Оксаной своя «скамейка смеха», откуда они наблюдает за прохожими, пытаясь представить себе, кто есть кто.

Вспоминаем и других подружек. Надменная Алина царствовала во всех компаниях. Поначалу казалась недоступной, а затем потянулась к Женечке. Вместе они ездили на зимние каникулы в дом отдыха, где их навещали мальчики, среди них главная Женина школьная любовь — Дюша Каменский.

Алина с Женечкой в доме отдыха ежедневно гуляли вместе, и на узенькой тропке были вынуждены идти одна за другой. И однажды Алина сказала Женечке, когда была второй: «Давай поменяемся, а то ты загораживаешь мне панораму». Женечка говорила, что на этом их дружба закончилась. Потом Алина вместе с Женечкой поступила на социологический факультет, где, как полагала Женечка, своим поведением сковывала ее свободу. «Если бы не Алина, все сложилось бы в университете иначе», — считала Женечка.

Неожиданно вспыхнула дружба с замечательной Соней, которая писала стихи. Нам казалось, что Соня умеет жить ярко и одновременно тихо, нам казалось родной Сонина естественность, талантливость поведения, то, как Соня умеет не выплескиваться вся наружу. Соня однажды позвонила Жене во время рецидива и сказала: «Ты, наверно, думала, что меня у тебя нету, а я у тебя есть».

Был у Женечки друг Кирилл, привожу фрагмент Женечкиного письма к нему, написанного в пятнадцать лет:

*Кирилл, сегодня такой необычный день, и я, кажется, похожа на маленького господина ван Шонховена, посылавшего Мятлеву свои фантазии, такие красивые, хорошие, но все равно груст-*

ные; а ты тогда получается — на самого Мятлева, ну пускай сегодня будет так, и еще похож на доктора Шванебаха своим бесконечным, совершенно безумным враньем, но, как сказано у Монтеня: *“Brevis est institutio vitae honestae beataeque, si credas”*<sup>1</sup>. А знаешь, я еще однажды была похожа на Александрину, впервые увиденную Мятлевым. Я как-то вечером, это было еще летом, заходила в Новороссийск, и там меня застал сильный дождь, все суетились, прятались под навесы и казались такими смешными и противными, что не хотелось делать то же, что и они, да и настроение было какое-то странное, кажется, я в тот вечер была без ума, и мне жутко захотелось почувствовать на себе эту небесную воду; сначала нервы были на пределе, но когда я промокла полностью и водяной холод достал до всех нервных клеток, то напряжение спало, а может быть, спало от того, что оказавшись в этом море, я на секунду очутилась в невесомости, а потом, в следующую секунду, стала Александриной, изваянной Булатом Шалвовичем, а еще потом все пропало. Несколько раз, будучи в абсолютном сознании, я пыталась попасть в какой-нибудь другой чудесный мир, и попал: *«Non iam, se moriens dissolui conque reretur; Sed magis ire foras, vestem que relinquere, ut angurs, Jaiuleret, praelonga senex aut cornua cerous»*.

Но увьи!

А помнишь, *mon cher*<sup>2</sup>, мы были вместе (*il y a si longtemps*)<sup>3</sup>? А теперь *je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, je vois que je vois fais dites*<sup>4</sup>. Все меняется *après tout*?<sup>5</sup> «И жизнь, как помотришь с холод вн. вокр».

Что постоянно в мире? Кто избавлен  
От вечных смен? — Для них свободен путь.

---

<sup>1</sup> Если ты веруешь, тебя недолго наставить к честной и блаженной жизни (лат.).

<sup>2</sup> Дорогой (фр.).

<sup>3</sup> Так давно (фр.).

<sup>4</sup> Я больше вас не знаю, вы уже не мой друг... (фр.).

<sup>5</sup> В конце концов (фр.).

*Ни радость, ни печаль не знают плена.  
И день вчерашний завтра не вернуть.  
Изменчивость — одна лишь неизменна!*

*Mon dieu, j'ai peur!*<sup>1</sup>

*А сейчас я жгу свечи. Так красиво! А запах. Он у меня ассоциируется почему-то с Домской церковью. Она потрясающе хороша, но самое изумительное было, когда в ней неожиданно зазвучал орган; Бах. Это было очень величественно, и в то же время я почувствовала, что в ней витают родственные мне духи. Действительно, что может быть лучше старинной музыки?! Разве что «Посвящение Макаревичу»? (конечно, не применительно к адресату). Потом была смотровая площадка в Вышгороде, а внизу Ратуша, изумительные улочки и вдалеке море. Хорошо вспоминать красоту. Когда купаешься в ней, все время кажется, что ты ее недостойна. Вот идешь вечером по бульвару. Пруд темно-зеленого-синего цвета, в воде отражаются огни и тени, деревья призрачные, за ними пустынная улица, а там белый-белый сказочно-торжественный «Современник» с белыми фонарями и красивые старые дома, в окнах — свет, немного прищурившись, и кажется, что там горит много свечей, нарядные и счастливые люди танцуют мазурку, им подают изысканные угощения. Вот-вот проедет карета, а мужчина в черном фраке с тростью в руке крикнет: «Извозчик!» А на темно-синем небе белая луна. Эти контрасты темного и светлого, матового и светящегося. Господибожемой.*

*Хочется сбежать от этих видений, после хочется в них кружиться, а после, чтоб все раскололось вдребезги. С хрустальным звоном и запахом и цветом сирени.*

*«А что разбилось, то разбилось,  
Зачем осколками звенеть?»*

*И через час, а может быть раньше, я пойму, что мне уже никогда не превратиться в господина ван Шонховена.*

---

<sup>1</sup> Господи, мне страшно! (фр.)

Выпускной вечер: сиреневое, с оборочкой наискосок Женечкино платье, под цвет и под стать ему колечко с сиреневым камушком — аметистом, гладко зачесанные, собранные в хвост волосы. На этом вечере возникло короткое взаимное увлечение («и жаль, что короткое», — комментировала Женечка) первым математиком класса Семей Блинником, который таскал Женечку в первом классе за косы и лез драться, отец даже ходил жаловаться в школу.

И жаль, что с Сашей Антиповым в аспирантскую пору ничего не получилось, не был он настойчив.

Хочется вернуть хоть один день той московской жизни. Нет, просто хочется вернуться в ту жизнь. Прийти домой, а там — Женечка. Накормить ее, приласкать, уложить спать. Перестучаться через стенку. Весь день гладить Женечку по головке. У Женечки такие красивые, яркие, орехово-коричневые, гладкие, блестящие волосы, которые я с мукой ласкала шестого сентября 1997 года накануне Женечкиного отъезда в Страсбург — перед больницей, перед беспощадным лечением. Дома в Москве хранится прядь тех Женечкиных волос — можно целовать и плакать, как плачу сейчас.

Глаз предшествует перу, и я не дам  
второму врать о перемещениях первого.

Иосиф Бродский

Мы вспоминаем наши совместные поездки, летние отпуска. Женечка помнит лучше, поправляет меня, уточняет.

Мы втроем с Женечкой и дедушкой Сеней в Симеизе. Женечке три годика.

Перед поездкой мы зашли в парикмахерскую на Петровке к молоденькой парикмахерше Гале. Та сделала Женечке короткую, «модную» стрижку, после чего Женечка с родителями побывала впервые в ресторане «Будапешт». Моя маленькая Мусенька давно кашляет, никто не знает, что это за кашель. На всякий случай Женечке в Симеизе делают уколы, традиционные для этого края туберкулезных санаториев. Крым, май, все цветет и благоухает. Мы совершаем далекие прогулки, оставляем позади городок с его чудесной аллеей, огибаем мыс и выходим на простор, к прекрасному дикому пляжу.

Мы в Коктебеле. Женечке четыре годика, она пухленькая, с персиковым личиком. Живем в крошечном сарайчике, одном из многих в огромном дворе с бессчетным числом курортников. Женечка поначалу боится моря, потом привыкает — резвится, плещется. По вечерам выходим на крутой берег, слушаем музыку ветра и моря. Однажды, лежа в кровати, Женечка проливает свой ежевечерний стакан кефира. И в ответ на мой несправедливый гнев (хозяйку не найти, белье не поменять!) с поразившей меня мудростью, кротко призывает: «Забудь, мама!» Прости меня, Женечка, прости маленькая, я не забыла твою кротость, твою мудрость, твое умение прощать, твою великодушие. Перед отъездом сидим в феодосийском городском парке и угощаемся копченой мойвой. Синевато-серый вечерний свет. Замирает дневная жизнь парка с детьми, качелями, велосипедами; нарождается вечерняя — взрослая, заманчивая, как всякая чужая жизнь.

Вот мы вторично в Коктебеле. Женечке двадцать лет. Она тоненькая, стройная, прелестная. Подъезжаем к квартирному бюро: здесь толпа, август — разгар сезона. Женечка оставляет меня на чемоданах, а сама отправляется на поиски жилья. Женечка — ведущая, Женечка — опора, с этого все и началось, и стало уже неизменным в нашей жизни. Впрочем, нет, началось это много раньше. В одном из своих писем в пионерский лагерь я благодарю Женечку, которой в ту пору десять лет, за житейский совет и прошу разрешения и дальше обращаться к ней за советами.

В то коктебельское лето мы купались до одурения, радостно впитывали литературно-исторические токи, исходившие из дома Волошина, а взобравшись на гору к его могиле, были потрясены игрой света и тени на разбегающихся ящерицами во все стороны холмах. Мы плавали на катерах в Судак, в дельфинарий, на биостанцию, вечерами ходили в кино, сидели у моря, прогуливались по набережной. Однажды Женечка стремительно кинулась к выброшенному волной утопленнику — помочь, откачать, тогда как многие курортники поспешно ретировались. Разыскали мы тот сарайчик, что приютил нас много лет назад, и поклонились ему. Привожу фрагмент женечкиного письма моему брату о той поездке:

*Дорогой Саша, не хотелось посылать Вам письмо без летних фотографий, их делали целый месяц, а они оказались постыдными. Особенно обидно из-за той с «гениальной» композицией: Вы с отцом и мама в зеркале. Так что к ORWO больше не прикаснусь и Вам не советую. Я явно уже опоздала с рассказом о Коктебеле (еще бы, мама пишет куда регулярнее!) But anyway.*

*Там очень вкусные персики! И первые несколько дней они были нашей основной пищей. Вообще оказалось, что Прибалтика не единственное хорошее место для отдыха: в Крыму тоже красиво, есть море, по которому можно плавать (мы покорили Генуэзскую крепость и насладились очень «ароматным» представлением в дельфинарии, где несчастное животное за скудную подкормку выделывало весьма убогие трюки, выслушали на той же биостанции страшно интересную лекцию про богатую*

*крымскую растительность и горные породы, из которых состоит Кара-Даг, но главное открытие — потрясающая красота Нового Света), вкусно и тепло <...> А ваши фотографии получились лучшие, — сказываются умения профессионала ( не дают мне покоя эти фотографии), — но в любом случае, надеюсь, будет приятно.*

На обратном пути опять пленились Феодосией, ее нарядными курортными проспектами с бесчисленными фонарями и фонтанами, но пуще — ее глухими, поросшими лопухами улочками с трепещущими тополями. Мой тайник, секретик, заповедник — рюмочка с коктейльскими камушками, собранными Женечкой и привезенными в Москву втайне от меня, по приезде стремительно вставшая на окне возле моей кровати. Боль моя, кровь моя, кровиночка, девочка, девочка, самая любимая, единственно любимая. В рюмочке плещется море, камушки подвластны морским приливам и отливам, рюмочка собирает льющийся из окна свет — дробимый, множимый камушками, наполняется им, дарит его мне, бери сколько можешь.

Возвращаемся в детство. Той же компанией, что и в Симеиз, мы едем на Кавказ в дом отдыха, расположенный в ущелье Гизель-Дире, что под Туапсе.

Мусечке шесть лет, она задорно пританцовывает на танцевальной площадке. Учится разбираться с показаниями часов. Мы дружим с милой девушкой Надей, медсестрой из Воркуты, и элегантной дамой, помощницей режиссера на Мосфильме, напичканной всякими закулисными историями, которыми ей очень хочется поделиться. Однажды нас с Женечкой приглашает в гости экзотическая цирковая пара. Кажется, они воздушные гимнасты. Удивляюсь, зачем мы им понадобились. Да кто же мог устоять перед Женечиным обаянием! Впервые едим здесь свежий инжир, очень вкусный.

На следующий год, перед первым классом, едем с Женечкой в Евпаторию. Вокруг нас больные дети, часто в инвалидных колясках. За одним столом с нами обедают больная девочка Наташа и ее папа. У Наташи — церебральный паралич. Они из города Иваново. Наташе не сидится, она беспокоится, беспре-



станно ерзает, сползает со стула. После ужина сидим с ними на набережной. Папа с Наташей терпелив, совсем на нее не раздражается. У него худое, скуластое, окаменевшее в горе лицо, не меняющееся даже тогда, когда он яростно, горячо что-то говорит — обычно осуждает врачей, принимавших роды у жены. Он редко говорит спокойнее, только когда размышляет о будущем Наташи, рассказывает о том, какие она делает, несмотря ни на что, успехи. В соседней каморке, по-южному крохотной, живет семья из Москвы: бойкая, «пробивная» мама, главный инженер в Жэке, с двумя — здесь уместно сказать — здоровыми белокурыми детьми. Лиза, Женечкина ровесница, всерьез занимается танцами, глубокомысленный Кеша все время что-то читает. Кеша года на три старше Женечки, он собирается в историки. В Москве мы некоторое время перезваниваемся, пару раз обмениваемся визитами.

Однажды я отправилась куда-то за фруктами, оставив Женечку ждать меня в парке, в тени на скамейке. Меня, наверное, долго не было, Женечка разволновалась и встретила словами: «А я думала с тобой что-то случилось». Я пустилась объяснять Женечке: «Никогда не надо предполагать ничего плохого, как если бы оно просто не может произойти». Удивляюсь себе, всегда жившей под сенью страха, и все-таки искренне эти слова произнесшей. Может быть, тогда был краткий период противостояния страху?

Удивляюсь тому, как долго жили эти слова в Женечке: я как-то, много позже, застала ее втолковывающей их кому-то. Куда, как я растеряла эти зерна бесстрашия? Растеряв их, утратила и возможность быть опорой Женечке.

Азовское море, дом отдыха под Бердянском. Женечке девять лет. Этот кусочек жизни как будто прячется от нас, ускользает, и мы с особым тщанием вспоминаем, извлекаем из забвения: дом стоял на самом берегу, необычайно теплое море по вечерам фосфоресцировало, и мы резвились в воде, заставляя ее светиться в лад с нашими движениями, и пританцовывали под пение Челентано. Мы чувствовали себя «бегущими по волнам». И часто ходили в кино под открытым небом, набрав с собой семечек в красный вышитый Женечкин баульчик. Кормили в доме

отдыха из рук вон плохо, и мы лакомились бычками и дынями с рынка.

Майори. Женечке десять лет. Сразу же по приезде идем в кино на «Солярис». Мы гуляем по центральной улице, угощаемся пирожками с мясом — нашей палочкой-выручалочкой, когда нам хочется чего-нибудь вкусенького.

Вдоль улицы много маленьких магазинчиков, в которых мы с самого начала присматриваем подарки и сувениры.

Совершаем долгие прогулки вдоль моря. В сторону Булдари и в противоположном направлении — к Дзинтари. Со всех сторон звучит песня «Миллион алых роз». Меня возили в Булдари двух- и трехлетней, там в санатории работал врачом мой дедушка. Отчасти по памяти, отчасти по рассказам я пыталась находить и показывать Женечке дорогие места. Я почти ничего не помнила, но воспринимала эти места как родные, и пыталась это ощущение родственности посеять в Женечке.

По пути в Булдари нам попался ресторан «Юрас Перли» (Юрмальская жемчужина), который вдавался в море, красиво нависая над берегом. Когда мы к нему приближались, то видели, как вокруг кружились нарядные люди.

Комната, в которой нас поселили, предназначалась для четверых, и мы боялись, что к нам кого-нибудь поделят. Мы выработали какой-то хитрый план: как расположиться и разложить свои вещи так, чтобы к нам никого не поселили. Под конец нашего пребывания к нам все же кто-то вселился, кто-то веселый и симпатичный.

Однажды мы сильно промокли под дождем. В фойе нашего коттеджа стоял телевизор. Мы вошли, и тут же нас привлек какой-то фильм, то были очаровавшие Женечку «Шербурские зонтики».

Еще мы ездили в Сигулду под Ригой: холмистая местность, чем-то напоминающая наш Дурбах, леса и замок.

В концертном зале под открытым небом в Дзинтари мы слушаем эстрадную музыку. Иногда подглядываем за отдыхающим здесь со свитой Райкиным.

В сосновом бору Женечка подолгу с азартом собирает чернику. Счастье разлито в воздухе.

Потом приедем сюда же зимой, спустя много лет. Женечка уже на первом курсе Университета. Это короткая поездка — всего на три дня. В купе заглядываемся на двух экстравагантных молодых женщин, одна из них, с длинной светлой косой, потчует нас рассказами о поездке в Америку.

Чувствуем, что они тоже как-то по-особому заинтересованы Женечкой. В гостинице Женечка, заранее оговорив это, занимает отдельный номер. Она уже взрослая. Но мы допоздна сидим в одном, любуемся соснами в темнеющем окне. Гуляем по безлюдным пляжам, в один из вечеров едем в Ригу. Валит крупный медленный снег, бродим в парке скульптур. На другой вечер — прощальный ужин в гостиничном ресторане. Там выступает варьете.

Женечке одиннадцать лет. Впервые едет с бабушкой и со мною в Ленинград. На фотографии Женинька хмурится, ждет от Ленинграда небывалого, а его все нет. Живем у бабушкиных старых знакомых, гостеприимных Лебедевых, на Проспекте ветеранов. Много гуляем по городу, обедаем в пирожковой «Погребок» на улице Гоголя, той самой, где живет Паша. Ездим в чудесные Павловск, Пушкин, Стрельну, на ракете — в Петергоф. И мало нам петергофских чудес, нас тянет в недоступный тогда Кронштадт, в прекрасном далеке высится перед нами его собор. В день нашего отъезда между Женечкой и бабушкой случается ссора: Женечка намерена еще побывать в Русском музее, а бабушка опасается, что мы опоздаем к поезду. Он не знает, что Женечкина земная жизнь так коротка, и надо спешить увидеть всякие земные сокровища. В Русском музее мы в тот день побывали, успели.

Три летних отдыха проводим в Тракае. Мы заморожены синей чашей озера. Завтракаем в саду. Сказочный тракайский замок. Купание, катание на лодках — Женечка часто на веслах. Любим гулять вдоль озера до замка, а порой и до лесного хутора, где есть коллекция деревянных фигур. Дом полон гостей, царит оживление, маленькие, озорные интриги. Во главе забавных интриг хозяйка: острая, приметливая, жадная до людей. Женечку будто невзначай называет «Мадонной» (Женечке в ту пору двенадцать лет). Неужели уже тогда можно было увидеть

Женечкину обреченность на высокие страдания, о которой много позже скажет один мудрый человек? Женечка смущена, польщена, чувствует в этом какую-то мгновенную точность, нечаянную правду. А местные отдыхающие дамы любят Женечкиной фигуркой. Помногу читаем (помню, в первый приезд Женечка читала «Всадник без головы» Майн-Рида), сидя в лодке, отвлекаясь на проплывающих уток. Женечка лихо вертит плоскости кубика Рубика, решение дается слишком легко, но кубик все равно не отпускает. Заглядываемся на хозяйского сына — историка, экскурсовода по замку, одержимого идеей независимости Литвы, а он поглядывает на красивую Наташу, Женечкину подругу.

Частенько выезжаем в Вильнюс. Запомнился серебристый свет неяркого солнца, внезапный алый отблеск на стене, родственное переплетение и перетекание улиц, отточенные силуэты домов, строгий, величественно-изящный Вильнюсский университет в ореоле дождя, грациозный собор святой Анны.

На майские праздники 1986 года мы едем на автобусе в Пушкинские горы. Прелесть долгой, нескончаемой дороги: Псковская земля, леса, перелески, озера, внезапно мелькнувший заяц. Гостиница в Невеле по пути.

В маленьком Невеле впервые с небывалой дотоле силой ощущаем, как навстречу пустоте неказистого заброшенного города внутри нас то ли расправляется, то ли рождается ощущение красоты и гармонии мира. Холодная бедная комната со скрипучими койками (Женечка спит в спортивном костюме), но все равно — мы в гостинице и запаслись кульком с пряниками, и это уже здорово. Михайловское: аллеи старых лип, гигантские дубы, далекая извиляющаяся река Сороть, леса, луга, распахивающиеся дали. Слишком кратко наше пребывание здесь, мы не насмотрелись, не налюбовались, хочется возвратиться сюда снова.

Женечке тринадцать лет. Мы в Крыму, во Фрунзенском. К морю спускаемся с высокой горы, норовим попасть на привилегированный генеральский пляж. Купаемся мало — вода холодная. Часто ходим в соседнюю бухту — смотреть дельфинов. На катере плывем в многоярусный Гурзуф, Никитский Ботани-

ческий сад. Помню, как мы переходим из владений одного аромата во владения другого. Сад расположен на горе над морем; разноразноуровневность областей сада гармонирует с высотой деревьев. В парке при Воронцовском дворце свободно разгуливают павлины. Во Фрунзенском лакомимся черешней, мороженым. Часто готовлю гренки. Читаю вслух «Собор Парижской Богоматери», а Женечка грызет соломку. Здесь, должно быть впервые, вижу Женечку скучноватой или помрачневшей. Дотоле Женечка всегда, ну, почти всегда, бывала ясной, воодушевленной, а если случались слезы или выпадали горькие минуты, то как-то мимолетно. Они преодолевались Женечиным азартным интересом к жизни.

В Праге мы с Женечкой (ей четырнадцать лет) не знали, чему больше радоваться: чудесной хозяйке, нас пригласившей, уюту дома, комнате, сплошь увешанной картинами, где нас разместили, мудрой недоступной таксе или доброму, мечтательному, полюбившему нас и с благодарностью принявшему нашу любовь городу мостов, садов, набережных.

Нежные Вальдштейнские сады с тихими прудами, народные гуляния под гармонь и марионеточный театр на острове Влтавы. Лабиринты узких улочек, они неторопливы — мы неторопливы, они стремительны — мы стремительны. Кто быстрее домчится до набережной Влтавы? Пересекаем десять раз на дню великий Карлов мост. Нас встречает книжное изобилие в первый же день на Вацлавской площади в магазине русской книги. И потом по очереди один из нас сидит с набитой книгами сумкой на Старомястской площади, в то время как другой прогуливается налегке неподалеку.

Манящая Парижская улица, где нельзя не загадать прогулки по Парижу.

Но она сама же и отвергает этот замысел, ревниво нашептывая о его несвоевременности и бессмысленности. И там же магазин писчебумажных принадлежностей, к которым Женечка особенно пристрастна, где набираем карандаши, ручки, ластики, записные книжки и всякие другие чудесные безделицы. Нас поражает собор св. Вита. В музее живописи в Градчанах

впервые видим картины Лукаса Кранаха, его тихо-скорбные портреты.

Порой, при осмотре достопримечательностей, Женечка, потупив взор, уходила в себя, и из такого состояния ее не мог вывести и мой призывный оклик обратиться к реальности. Прости, Женечка, и это мое непонимание.

После Праги мы отправляемся в Палангу. Бушующее море не подпускает нас близко, большей частью мы им только любимемся, ищем на побережье янтарь. Фланируем по центральной аллее парка, посещаем музей янтаря.

Колючие свирепые дожди часто загоняют нас в читальню из светло-желтого легкого дерева, где листаем толстые журналы, или в маленькие кафе — пьем кофе, едим мороженое. Изредка бываем в бассейне с веселыми горками и водопадами. Женечка с Наташей совершают дальние прогулки на велосипедах вдоль моря, их сопровождает дурманящий запах хвои, исходящий от ароматных елочек, обрамляющих дорогу с двух сторон. Однажды едем в Клайпеду, в музей-аквариум. Где еще нам доведется увидеть таких причудливых рыб, морских животных и морских чудовищ? После музея заходим в необычное кафе: три комнаты, в каждой из них доминирует свой цвет. В какой же комнате мы были? Кажется в зеленой... Так ведь, Женечка?

Эстония, Эльва. Женечке пятнадцать лет. Темные озера. Сумрачные леса, рассекаемые снопами света. Заросли вереска, далекие прогулки по дачным поселкам. Поездки в Таллин, Тарту. Здесь, в Тартуском университете, учась на медицинском факультете, познакомились Женечкины прабабушка и прадедушка (а лучше бы им не знакомиться).

Первые две недели отдыха Женечка провела с отцом, потом мы с отцом поменялись. Вот что пишет мне Женечка в первые дни:

*Мамочка. Я по тебе очень соскучилась, но надеюсь, что встретимся мы именно здесь, потому что это правда чудное место. И на Тракай не похоже, хотя тоже озера, леса, маленькие домики, красивые закаты, но у города совсем другие настроения. Он мне нравится, но я его еще не люблю.*

*Доехали хорошо; прибыв в Тарту, прождали полтора часа электричку, и отец, как всегда, в своем репертуаре. Раздобыл бутылку молока, и мы выпили его прямо из горла. В Эльве Хельди договорилась с соседями, и нас ждали в августе, так что если ты приедешь, мы поселимся в другом месте, а пока мы живем именно у Маяс. Комнатка хорошенькая и удобная, у нас, можно сказать, собственное подсобное помещение с разделочным столом, шкафчиком, холодильником, плита одна на две такие подсобки, своя посуда, воду таскаем из колодца. С рестораном отцу слабо, но столовая очень симпатичная, с тракайской совершенно несравнима. Мы были в ней один раз. Дома делаем салаты, а сегодня отец купил консервированные кислые щи, сварил их, и оказалось — очень прилично. Так что быт в полном порядке.*

*За стеной живет девочка, которая учится в Гнесинском по классу виолончели, и каждый день занимается музыкой. Представляешь, Мисюля, как это здорово. Я с ее мамой уже ходила в лес (воспитанная, но глуповатая тетка), надеюсь скоро вытащить туда отца (вообще, как ни странно, он меня слушается). Природа замечательна тем, что очень много сосен. Ближайшее озеро тоже красивое, на нем построен приятный песчаный пляж, и народа там собирается не мало. Вот вкратце все.*

*Настроение у меня хорошее, только скучаю. Твой ответ, наверное, не придет до приезда, но очень хочется получить от тебя весточку. Передавай всем-всем привет. Тебе привет от Папика.*

*Целую Женя.*

Упомянутая в письме девочка Света, что играла на виолончели, вскоре дает нам концерт, а мы в знак благодарности дарим ей книгу Северянина, купленную на Ратушной площади. Спустя несколько лет Женечка увидит повзрослевшую Свету, играющую в первоклассном оркестре.

Мы отдыхаем в Пярну. Женечка перешла на второй курс Университета, ей восемнадцать лет. Мы любуемся завершенностью очертаний бухты. Хочется вбирать ее взглядом всю сразу и длить в себе. Ласковое прикосновение песка к коже. Далеко в море уходит узкий мол. Женечке нравится по нему бро-

дить. Здесь по-курортному очень нарядно, комфортно, уютно, вкусно.

Иногда млеем на женском пляже, испытываем новые ощущения. Гуляем по дачной части городка, ищем дачу Давида Самойлова. Мы его в то лето как раз читаем. («Какая холодность души к тому, что не любовь и мука»). Дачу находим по неопровержимым приметам, им самим же где-то неосторожно упомянутым. Не глазеем, чинно проходим мимо. Нам важно, что нашли: вот она, его обитель. Часто ходим в клуб любителей кино. Правда, фильмы здесь особенные, отобранные с учетом вкусов членов клуба: «Крестный отец» Копполы, «Сало, или 120 дней Содома» Пазолини. С него Женечка уходит, не выдержав его изощренной жестокости. В ряду других показывают наш любимый с Женечкой «Поезд» с Роми Шнайдер и Трентиньяном. Фильм о том, что, оказывается, можно и перед лицом смерти любимых не предавать.

По приглашению моего брата Саши в 1993 году мы с Женечкой едем в Париж. Женечка к поездке готовилась тщательно, ходила в Иностранку, читала о парижских достопримечательностях, посещала там же двухнедельные курсы французского языка, так что могла быть и была мне в наших прогулках гидом. К тому времени Женечка прочитала «Историю моих бедствий» Абеяра и возжелала себе такой же участи, что постигла влюбленную в своего учителя Элоизу. Ей виделась в Абеяре Никита Покровский, ее кумир, университетский преподаватель, а в преданной ученице Абеяра Элоизе — она сама...

Из Женечкиного дневника:

*Я недавно прочитала «Историю бедствий» Абеяра, мой капитан, мне казалось, что Вам должна нравиться эта книга. Чем? Начиная тем, что, сбежав из монастыря, он удалился в пустынь, где выстроил из тростника и соломы молельню и жил в полной скромности, подобно Сынам пророческим, которые строили себе хижины вблизи Иордана и, оставив города и шумные скопления людей, питались ячменной крупой и полевыми травами, подобно пифагорийцам, любившим уединение, или Платону, избравшему для занятий своей Академии виллу,*



удаленную от города и пораженную чумой, подобно Торо, поселившемся в шалаше на Уолдене, подобно его биографам, и не только из соображения уединиться, многие из философов оставили многолюдные города и загородные сады, с их тучной почвой, пышной листвой деревьев, щебетанием птиц, зеркальными источниками, журчанием ручейка и многими соблазнами для зрения и слуха, не желая, чтобы роскошь и изобилие приятных впечатлений ослабили твердость души и осквернили ее целомудрие. В самом деле, бесполезно многократно взирать на такие вещи, которые когда-то пленяли тебя, и подвергаться воздействию тех предметов, лишение которых ты переносишь с трудом! А Элоиза! Грандиозный отказ.

О социологии и Покровском из письма Оле Митрениной:

Олечка, кажется, я больше всего в жизни люблю получать письма. Чем я заслужила посланные два тобою? Но они совершенно не подробные. Ты не меньшая лентяйка. В Москве, кстати, тоже весьма тоскливо. Письма я писать не умею, поэтому получаю очень редко. До подруг не дозвонишься, все дружно решают личные проблемы, максимум, на что их хватает, — высказывают на одном дыхании свои новости, а потом пропадают неизвестно насколько. В университете разговоры еще более бабские. Соперницы, измены, аборт — бедняжка советская социология. Ей все время не везло. В начале века социологи были столь маломощные, что читали только французов с немцами, да пересказывали их. Этим русская социология бессовестно ограничивалась.

Потом она прослыла продажной девкой, которой нигде не давали прохода, еще позже привлекла внимание к себе таких же продажных, как и она сама (вроде меня). Хотя есть и другие крайности. Из-за этих крайностей приходится жить от вторника до вторника. Потому что в этот день в универе, соизволяет появляться мой так называемый научный руководитель. Оля! Все при нем, но, кажется, есть один недостаток. Правда, я не уверена. Короче, он помешан на науке до умопомрачения. Кроме того, последний «предмет его интереса» — одиночество.

Откровенно говоря, по телефону изредка отвечает женский молодой голос, который в сочетании с предметом научного интереса оставляет очень мало надежды. А как жить без надежды? Для того, чтобы иметь повод к нему приставать, приходится делать огромные переводы, от которых давно тошнит, и соглашаться с тем, что лучше не засчитывать их в качестве курсовой, хотя на нашем бредовом department это очень даже принято, а писать настоящую курсовую. Ну какой из меня ученый на самом деле! Он даже о Нью-Йорке не может говорить нормально. Якобы NY сам по себе ничего, но трудно воспринимать город, в который приезжаешь как турист, или за покупками, или просто пошляться. То ли дело город, где работаешь. Но при этом обаяние свое он скрыть не в состоянии, даже если старается, а эрудицией берет за живое, так что до следующего вторника не успеваешь прийти в себя. Если тебе интересно, почитай что-нибудь. Его зовут Покровский. Он пишет о Торо и Эмерсоне (особенно хорошо его предисловие к их книге из серии «Библиотека литературы США»), об американской философии, пока вышла книга только о пуританизме и «Лабиринты одиночества» — видите ли — по-моему, ничего особенного (последняя). Об одиночестве вообще попробуй напиши. А он в один несчастный момент полюбил Торо и решил сам попробовать. Хотя о любви писать еще сложнее, ее проще опознать. Но одиночества все боятся и избегают, как могут, а любви почему-то нет <...> Питер лучше и Вильнюса, и Нью-Йорка, но не потому, что сам по себе такой замечательный, а потому, что в нем есть вы. В моем бедном сердце вы, рассредоточенные по каналу Грибоедова, улице Кустодиева, которой я никогда не видела, универу, Гоголя, Белогвардейской, или как ее там, оккупировали огромный кусок пространства, так что вас ничем не сместить. Но я и не пытаюсь, не подумай. А поездку откладываю, потому что этим козырным тузом придется крыть, когда в Москве совсем стану загибаться, а совсем еще не наступило.

(Или когда буду счастлива, чтобы было чем поделиться.) Ты же не откладывай, приезжай, ведь нет гарантии, что для тебя это такое же удовольствие. Заодно проверим.

Жду, целую крепко. Женя

Поэтому предполагалось, что наша поездка в Париж будет не совсем праздной. У нас была задача найти монастырь, где пребывали в изгнании влюбленные. По московским источникам, их изгнание проходило под сенью монастыря, что в пригороде Парижа, куда мы и совершили паломничество, успехом не увенчавшееся, поскольку никто из местных жителей этой истории не знал и не мог ни подтвердить, ни опровергнуть ее подлинности. Мы не слишком огорчились: Париж в мечтах о любви еще прекрасней.

Наш восторг перед Парижем и смущение перед таким детским восторгом, который, как казалось Женечке, совершенно неприличным образом обнаружился на Женечкиных парижских фотографиях. Обширная у нас была программа, а полюбились нам более всего остров Сен-Луи, Люксембургский сад и сад Пале-Рояль. Как-то раз мы с Женечкой разошлись в разные стороны — в тот час обоим хотелось побыть с городом наедине — и нечаянно встретились как раз в саду Пале-Рояль. Я предпочитала просто бродить по городу, куда глаза глядят, а Женечку притягивали достопримечательности, музеи: Дом инвалидов с гробницей Наполеона, собор Парижской Богоматери, д'Орсэ, Лувр, музей Пикассо, музей Дали, музей Мане, центр Помпиду, музей Родена. Думаю, без Женечки я в них просто-напросто и не побывала бы. Неутомимые мы были тогда, бродили с утра до вечера, так что брат о нас даже беспокоился. Женечка быстро по карте распознала все маршруты, сориентировалась в причудливой парижской подземке и уверенно вела меня за собой. Несколько раз Женечка заезжала в Сорбонну — осведомиться о возможности обучения.

Вот фрагмент из Женечкиного письма Паше из Парижа:

*...Пашечка, наверное, думаешь, Париж обрек меня на вечную немому. Я мечтала нырнуть в него поглубже, пропитаться насквозь всеми его прелестями (стать очень парижской), вместо этого торчу на поверхности, как поплавоч, которому не хватает грузил. Если не пропитаться, так окаменеть на постаменте в Люксембургском саду вместо той, которая так напоминает некоторым красавицу М. Б. Вместо этого почти окаменела,*

*рисую тебе плас де Вои, к ней прилагается СПБ, чтобы ты оценил его «чудовищные ребра», а также, надеюсь, то, как я способна создать (нарисовать) прекрасное из тяжести недоброй (цитата), с последним, знаю, будет сложно согласиться, но согласиться было бы очень по-французски, поскольку здесь не принято возражать, следовательно, не принято говорить «нет», здесь популярно «да», хотя на слух оно воспринимается как отвержение желудком горчайшей отравы...*

И из другого письма ему же:

*Никаких тебе, Пашечка, эротических картинок не будет. Все они слились в одну картинку, когда я открывала свой очень толстый альбом для рисования, подаренный заботливым дядюшкой любимой племяннице-пленнице, о талантах которой можно судить уже по одному первому листу — единственному изрисованному во всем альбоме, единственному, вероятно, теперь на многие годы вперед. На нем нарисована спина; не она одна, конечно, — несколько кустиков, выложенных кирпичами, клетчатая ограда, спинка (не спина) скамейки, целая колоннада, если имеющая отношение к какому-то ордеру, то скорее к дорическому. Рисунок закончен еще меньше, чем незаконченный СПБ, но главное — спина, в нее-то и слились мои эротические картинки. Теперь я знаю, чья это спина, — героя эротических картинок. (Последнее предложение написала Варя Звягина, пока я грызла ногти.) С этой спиной я промучилась изрядно, сейчас понятно, что не зря: мало того, что она откровенно смахивает на твою, ей к тому же достаёт (не недостает, а именно достаёт) одной детали — хвоста. Черт! Только этого мне не хватало. Дело в том, что рисовала я себе садик Palace-Royal, и гораздо интереснее было рисовать колонны, а не чьи-то каменные спины, но не моя вина, что кому-то пришло в голову втиснуть между колоннами несчастную статую, которой я пририсовала хвост. В действительности, с того места, где я сидела, казалось, что несчастный, подставивший свою спину, прежде чем окаменеть, садясь на постамент, тепла ради постелил на него тряпку,*

*край которой я старалась изобразить, край которой теперь выглядит вылитым хвостом.*

На острове Сен-Луи, в одном из старых узких домов на набережной Бурбонов, Женечка мечтательно облюбовала себе жилье для предстоящей жизни в Париже, как делала всегда в новых для себя городах, пытаясь найти и порой находя близкое, родное душе, место. Набережные Женечку всегда влекли.

Нередко мы ходим гулять в Булонский лес, благо квартира брата расположена совсем неподалеку. Огибаем озеро, идем к Шекспировскому саду или переплываем на пароме на крошечный игрушечный островок, где расхаживают павлины и цветы собираются в нарядные, огненно-красные клумбы. Тишина и порыв, уживаясь, соперничали в Женечке, в путешествиях усиливалось и то и другое, а потому возрастало и противостояние. Женечка умела смотреть внутрь себя сквозь призму внешнего мира. Спустя два года выпало мне по приглашению брата побывать в Париже вторично. Чары, источаемые городом, померкли, не были очевидны для меня.

Очевидно было другое: он был прекрасен для меня только в нашей с Женечкой совместности, в нашем общем восхищении и воодушевлении. Первой и главной моей заботой на этот раз было порадовать Женечку красивыми подарками. Внезапно в январе 1994 года мы отправились с Женечкой в турпоездку в Стамбул. Первое впечатление: город не скрывает своей изнанки, начинки, вырвавшегося на улицы сырьевого изобилия кожи, тканей, мануфактуры. Облик города правдив, правдив сам город. Из темноты, смутных красок, промозглости и уныния узкая улица выводит нас к необычному, загадочно сотворенному пространству площадей, деревьев, дворцов, мечетей. Море местами серое и будничное и тут же, безо всякого перехода, волшебнo-аквамариновое. Как в волшебную пещеру, попадаем в сокровищницу восточного базара с коврами, вазами, тканями, украшениями, экзотическими сладостями.

Это бутафория? Нет, мы уже поверили городу. Все вместе чудесно, да только сосредоточиться на чем-то одном невмочь, глаза разбегаются.

Давнишний Женечкин интерес приводит нас в музей ковров. Все в них пленяет Женечку: прекрасная покорность, готовность нам бескорыстно служить, цветовые соответствия, игра переплетений шелковых и шерстяных нитей, тайна орнамента, драгоценная ветхость. Мы проникаемся их чарами, поддаемся желанию дотронуться, войти в орнамент как в особую страну. Приходим в лавку, перед нами один за другим продавцом стелются ковры, один орнамент набегает на другой, картины оживают. Как труден выбор!

Вдруг вскидываемся обе — один ковер бесспорен, в нем все наше: орнамент, цветовая гамма, перекличка и разноголосица элементов. Продавец ковров красавец Марио (имя ему дала мама-итальянка, привезенная папой в родную Турцию) смотрит на Женечку. В этой комнате все очарованы: кто-то коврами, а кто-то Женечкой. Женечка и Марио долго и весело торгуются, и всерьез и понарошку, за всем этим — любовная игра. Марио нравится Женечкин азарт, ему «нравится Женечкино лицо», и он приглашает Женечку отпраздновать покупку в какой-то харчевне с местным колоритом. Женечка, несмотря на всю свою решительность, долго сомневается, стоит ли идти, потом — идти ли ей одной или взять меня. В конце концов идем вместе. И правильно делаем. Во всяком случае, ускользнуть от настойчивого поклонника, не смутившегося моим присутствием, было не просто. Мы не огорчаемся своей незадачливостью. Это просто незнание местных нравов и маленькое приключение в придачу к коврам. Ковровый орнамент для нас — ключ к постижению загадочного пространства города. Едем на парходике на острова. Неожиданно мы попадаем в лето, в Стамбуле не столь заметное: вокруг цветы, экзотические зеленеющие деревья, благодать солнечного теплого дня. С одного острова можно видеть другой, еще более привлекательный. Острова аукаются, зовут, манят нас. В угловом кафе, где мы лакомимся кофе с пирожным, таинственная дама строчит длинное письмо, а может, и вовсе роман. На ней синий макинтош и странные башмаки, она напоминает нам какого-то сказочного персонажа. Аппетит приходит во время еды: на острове тоже есть ковровая лавка, и мы выбираем еще один ковер. Здесь все более чинно

и благопристойно, азарту негде разгореться. Интеллигентный сдержанный продавец, получивший образование в Германии, заносит Женечкины координаты в какую-то толстую книгу и расспрашивает нас про Москву; ему интересно было бы в ней побывать. Что же, мы не против, милости просим. Возвращаясь с островов, с моря любуемся городом, по-новому представшими перед нами стремительными, полными страсти, рассекающими небо минаретами мечетей.

Роемся в развалах с украшениями, что на берегу Босфора — удовольствие чрезвычайное. Украшения такие, как мы любим — «варварские», какие ценил Модильяни. Высоко над нами воздушный, парящий, перекинутый через Босфор мост, соединяющий Европу и Азию.

Летом 1994 года я живу в Переделкине и каждый вечер поджидаю свою маленькую с работы. Женечка ужинает, мы гуляем по поселку, засматриваемся на сосны, сидим на лавочке у железнодорожного полотна, провожая поезда.

Маленькая укладывается на раскладушке и решает задачки для предстоящего экзамена TOEFL. Женечке здесь так нравится, что она даже заготавливает объявление о съеме дачи на круглый год.

Начало сентября 1996 года. Мы едем в Переделкино на два дня. Лежим на пригорке за родником, смотрим в небо, перед нами качаются длинные тонкие золотистые ветви березы.

Мы словно облака вокруг луны, —  
Летим сквозь ночь, трепещем и блистаем.  
Сомкнется тьма — и миг поглощены,  
Мы навсегда бесследно исчезаем.  
Мы точно звуки несогласных лир —  
Ответ наш разный разным дуновеньям.  
Не повторит на крупных струнах мир  
То, что с прошедшим отошло мгновеньем.

Перси Шелли

Женечка и раньше в уютные минуты просила: «Расскажи, как я была маленькой». Вот и теперь я рассказываю.

Женечка родилась маленькой, весом 2970 грамм, ростом 49 см. Когда Женечку первый раз принесли, во мне сразу вспыхнуло: «лепесток розы». И не ведая об этом, Женечка долгие годы собирала сухие лепестки роз в старую соломенную, окаймленную бисером, бабушкину шкатулку.

Маленькая Женечка звалась еще Мисюсь — по чеховскому рассказу «Дом с мезонином». А потом возникло еще одно имя — Муся, еще лучше — маленькая Муся. Женечка полагала, что в честь Цветаевой. Наверное, так, только как-то бессознательно, потому что такого своего намерения не помню.

Женечка первый день дома, в своей кровати, глазки открыты и устремлены в неведомое.

Женечка в голубом байковом мешке, с соской во рту, беспokoится во сне, просыпается, ищет меня глазами, опять засыпает.

В ярком, цветном конверте несую румяную Женечку-крошку на руках в поликлинику. Мы так близко, глаза в глаза.

Женечка в красной шапочке, с соской, в коляске на балконе. Глазки открыты, смотрят в небо, но уже сонные, слипаются, а вот уже уснула.

На кровати раздеваю Женечку после гуляния, зачем-то выхожу на лестничную площадку и захлопываю дверь. Мечусь в ужасе. Нахожу во дворе рабочего: он с балкона четвертого



этажа по канату спускается на наш третий и открывает мне дверь. Мы спасены. Много раз встречала этого человека, и с каждым разом он казался все значительнее — всегда погруженный в себя, замкнутый, нелюдимый.

Женечка маленькая, месяцев десять. Я склоняюсь над кроватью. Женечка тычет пальчиком мне в лицо, а я называю: это — нос, это — лоб, это — щека.

Женечка в ползунках в бело-зеленую полоску стремительно ползает по манежу. С коленки, держась за перекладину манежа, встает на одну ножку, потом на вторую — Женечка встала (восемь месяцев).

Женечка, сидящая у меня на коленях и перебирающая безделушки в зеркальном отделении столика.

Укладываю Женечку спать, сама ложусь на соседней кровати. Женечка время от времени зовет, пока не заснет:

— Мама.

Откликаюсь:

— Я здесь.

— Мама.

— Я здесь.

Женечка сидит на подушечке на подоконнике, поддерживаемая бабой Аней (прабабушкой), глядя в окно зовет: «Дети, идите к бабе Ане». И однажды, незаметно для бабы Ани, закладывает в носик вишневую косточку, которую обнаруживают и извлекают только спустя два года при удалении аденоидов.

Чтобы накормить маленькую Женечку, сидящую в детском стульчике, надо подбрасывать ей игрушки. Женечка зазевается, откроет ротик и ест с ложечки, без того отвергаемой. Баба Аня зовет такую Женечку «важной барыней».

Чтобы отучить Женечку от соски, пришлось прибегнуть к обману. Приезжая к Женечке на дачу, на ее вопрос: «А где же соска?» — всякий раз отвечаю: «Извини, Женечка, опять забыла».

Женечка на даче в Крюково делает ласточку: «Я — маленькая балерина» (2 года).

Женечка впервые бросается мне навстречу, обнимает и целует (2 года).

Женечка в байковом розовом платьице, за руку с бабой Аней, встречает меня на автобусной остановке (в дачную бытность).

Женечка, маленькая, старательно нанизывает на ниточку цветные деревянные бусы.

Женечка из зеленых диванных подушек на журнальном столике сооружает кровать своим куклам: Маринке, Тинке, Ванечке, старому мишке, — укладывает их спать.

Поздней осенью гуляем по Нескучному саду, собираем разноцветные опавшие листья, дома ставим их в вазу.

Женечке в четыре годика вырезают аденоиды. На два дня оставляю Женечку в больнице. Женечке страшно, но не слишком. Главное, что Женечка запомнила, это как ей в больнице давали мороженое. Идем обратно.

Женечка — вприпрыжку, в косыночке и желтеньком плаще.

Женечка в окружении баночек с разными снадобьями, пинцета, зеркальца, крючочков, палочек деловито лечит зубы своим куклам, иногда вместе с соседской девочкой Лелькой.

Женечка ходит в гости к соседке Лельке, там интересно и угощают вкусными оладушками.

В четыре годика водим Женечку в прогулочную группу. Однажды Женечка убегает с прогулки домой, а потом сильно переживает, что ей от меня влетит. А оказывается, что вовсе нет: я «кручусь у зеркала» и не придаю особого значения Женечкиному побегу. Так вспоминает Женечка, а я не помню такого и стыжусь и переживаю о том сейчас.

Женечка в синей курточке перебегает двор, направляясь в детский садик. Мы из окна смотрим ей вслед (5 лет).

Женечка берет уроки музыки. Я часто выказываю нетерпеливость и раздражительность. Женечка плачет. Любимая Женечкой короткая, пронзительно-печальная Сарабанда, вальсы Шопена. Мы дружим с учительницей музыки Ольгой Сергеевной, вместе едем в Тарусу к Цветаевой. В декабре 1993 года Ольга Сергеевна умирает. Мы с Женечкой присутствуем при кремации в Донском крематории, метет снег.

Начиная со второго класса, Женечка три года посещает танцевальный кружок. Помню первое выступление: «Танец с зонтиками». Женечкина лукавая мордочка, две баранки из косичек

с большими белыми бантами, голубой зонтик в руках, легкие прыжки между «луж». Женечку больше занимает не танец, а само пребывание на сцене. Женечка не смущена, нет, ее интересует темный зал, люди в зале, кажется, что Женечка все время зорко всматривается, вслушивается в зал и находится одновременно и на сцене и в зале.

Женечкины любимые детские книги: «Малыш и Карлсон», «Слон», «Мумми-тролль», «Мэри Поппинс», «Четвертая высота», «Том Сойер», «Два капитана», «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера». И любимые маленькой Женечкой пластинки — «Радионяня», «Чебурашка и крокодил Гена», «Бременские музыканты».

В юности Женечка полюбила Гамсуна, Набокова, Бродского, Довлатова, Сашу Соколова, Гессе, Томаса Манна, Фолкнера, Зингера, Кортасара, Борхеса.

Вспоминаю «Детский мир», куда мы с Женечкой ходили за игрушками, за тетрадками, за одежкой.

Женечка на катке, выделяет под музыку всяческие пируэты, подсмотренные по телевизору у фигуристов.

С маленькой, хворающей Женечкой мы разучиваем стихотворение: «Мороз и солнце, день чудесный...»

Нередко ходим с маленькой Женечкой на литературные концерты в актовый зал библиотеки имени Ленина. Прежде всего вспоминаются два: Антонина Кузнецова, читающая Цветаеву, и Рафаэль Клейнер с «Диалогами Сократа».

Женечка-школьница каждый день звонит мне на работу, и мы воркуем.

В Женечку в шестом классе влюбляется Дюша Каменский — он считает Женечку красивой, а Женечка — в Дюшу. Они ведут долгие телефонные разговоры, бродят по бульварам до той поры, пока Оля Дорман, самолюбивая и «коварная», не прекращает это «безобразие».

Другие мальчишки из класса тоже влюбляются в Женечку, и добрая подружка Оксана говорит: «Представляешь, Женечка, у скольких наших мальчиков будут дочки Женечки».

Женечка неожиданно встречает меня из командировки с теплой одежкой в аэропорту Домодедово — внезапно похолодало (7 класс).

Мы с Женечкой спим по разные стороны одной стены и, ложась спать, перестукиваемся: «Я тебя люблю». — «И я тебя люблю».

Случались размолвки. Чаще всего из-за того, что я позволяла себе неодобрительные высказывания о Женечкиных друзьях или о друзьях друзей.

Женечка этого не терпела и в какой-то момент решительно и окончательно пресекла мои наветы. Мирились мы быстро — или я обнимала Женечку, или Женечка решительно брала меня за руку: «Все, мир».

Когда кому-нибудь из нас бывало тяжело, беспокойно, мы укладывались спать вместе, утешали друг друга.

Женечка делает уроки за письменным столом. Иду с работы вечером, всегда вижу свет в столовой. Женечка встречает меня словами: «Что ты так долго не приходила? Я соскучилась», — в бордовой в полосочку кофточке, которая должна защитить Женечку от холода и других возможных бед.

Женечка в пятнадцать лет рисует свою главную картину «Сирень в хрустальной вазе» — после того как, желая поставить букет сирени в вазу, наливает в нее кипяток, и ваза, не выдержав, дает трещину. А Женечке хочется восстановить вазу и сохранить сирень в ее буйном цветении. И Женечке это удастся.

Женечка берет уроки игры на гитаре и поет стихи Окуджавы и Гумилева («...далеко-далеко на озере Чад изысканный ходит жираф»). Женечка, любимый мечтательный жирафенок!).

Перед выпускными экзаменами мы ездим в парк «Сокольники», у нас там есть любимое место, отдыхаем и немножко повторяем билеты, готовясь к экзамену.

Мы ездим с Женечкой к дому ее университетского преподавателя Никиты Покровского (Женечка находит его похожим на Бродского), сидим на лавочке во дворе, смотрим на его балкон. То ли надеемся, то ли опасаемся его встретить. Конец июня, цветут липы.

На втором курсе Женечка увлекается верховой ездой. Закрываю глаза и вижу Женечку, галопом несущуюся по хрусткому первому снегу, голые нежные ветви окружающего поле пролеска, небо с просинью, ветер в лицо.

Подарком судьбы шестнадцатилетней Женечке стала встреча с Евгенией Филипповной Куниной, человеком необъятной доброты, кротости и великодушия. Евгении Филипповне я безмерно благодарна: она с первой встречи приняла и приветствовала ничем еще не проявившую себя в ее глазах Женечку словами: «Спасибо, что Вы есть». И произнесла это так, что я позволяю себе заглавную букву в ее обращении к Женечке. Своей дружбой она открыла, назвала Женечкины душевные качества и вызвала к жизни их вызревание в чуткой Женечке. Мы повторяли любимые, растившие нас, светлые стихи Евгении Филипповны:

И день раздумчив. И душа,  
Как будто ни о чем — о многом,  
Каким-то по своим дорогам  
Плывет тихонько, не спеша.  
И суета с нее сошла,  
Как временная позолота.  
Она, раздумьями дыша,  
Как бы в преддверии чего-то  
Плывет, без страха и заботы,  
В забвении земного зла.

Должно быть, только там, в Женечкином детстве, мы могли почерпнуть чувство защищенности, но закрома наши были невелики.

...обнимая его, она завещала ему на всю его будущую жизнь горькое и сладостное время любви... он чувствовал, что нет большего блаженства, чем быть любимым, и что любовью матери он уже приобщился к великой тайне мира.

Стефан Цвейг

Двадцать первое октября. Женечка идет одна на переливание крови, сдает анализ. Встречаю возвращающуюся из клиники Женечку у дома, вижу ее издали и вдруг теряю из вида, кидаюсь во все стороны, бегу в Оранжери.

Навстречу идет Женечка с заострившемся, обреченным лицом. «Мне уже терять нечего, можно и погулять». Анализ вопиюще плох. По заочному распоряжению врача Ашиля медсестра пыталась ввести Женечке лекарство, стимулирующее деление клеток крови. Женечка воспротивилась, полагая, что тем самым будут приумножены и опухолевые клетки. Женечка должна понимать, в чем суть предлагаемого лечения, и сама принимать решение.

Назавтра назначена встреча с врачом Ашилем. Женечка и на этот раз отказывается от лечения. По возвращении домой приглашает меня разделить с ней радость: «Поздравь меня, мама, я теперь свободна, совсем свободна от всех врачей. У меня сегодня великий день». И звонит в Москву, делится своей радостью с доктором Шкловским.

В этот же день поднимается температура. Озноб сотрясает все тело. То укрываю Женечку огромным верблюжьим одеялом, то убираю его, оставляя одну простынку. Меняю на головке повязку — зеленое махровое полотенце. Бессонные мучительные ночи. Наши переклички: «Мамонька» — «Женинька».

Меняю белье — Женечка сильно потеет. Варю компотики, больше всего Женечка любит малиновый. Женечка ест все меньше и меньше: бульон, немножко манной или рисовой каши, маленькие ломтики хлеба (корочки я срезаю), ложечку пюре

с крошечным кусочком рыбы, дольки мандарина, чай с лимоном и медом.

Изредка Женечка присаживается к столу, и тогда этот неизменный жест: рукой по головке, от затылка ко лбу — почувствовать свои волосики, их рост, их густоту. Но чаще Женечка предпочитает оставаться в кровати и есть с ложечки. Нет мочи, вся слизистая изъязвлена, рот в болячках, боль в пищеводе, особенно острая после еды, трудно дышать, жмет сердце. Порой Женечка заказывает какие-нибудь кушанья, а есть не может и, видя мое огорчение, жалобно твердит: «Я же не капризничаю, я же не капризничаю». И я бросаюсь утешать: «Конечно, маленькая, когда захочешь, тогда и поешь».

Женинька не тщеславилась своими муками. Все силы свои в героическом одиночестве, весь труд превозможения ужаса, страданий, обращая на собирание себя, на сохранение своего достоинства. Наружу не вырывались даже стоны. Когда муки перекручивали тело и душу, тогда я не выдерживала и молила: «Женинька, ты стони, стони, легче будет». Стонать Женечка будет только в беспамятстве. Господи, какая непостижимая красота усилий и гордости!

Мне видится ореол святости вокруг моей Жениньки, «тот круг, внутри которого человек собран и завершен» (М. Мамардашвили). Поль Валери говорил, что высшим человеком является не тот, кто имеет способности и выносит их наружу в виде каких-то продуктов, а тот, кто овладел собой во всем объеме своего существа.

Мы не длим дни — слишком они непереносимы, хотя у нас их осталось совсем немного. Мы ждем пасмурной дождливой погоды, еще более сокращающей светлую часть дня, а день как раз все укорачивался и укорачивался, пока совсем не сошел на нет. Лежим, прижавшись друг к другу. Когда озноб отпускает, слушаем музыку. Каким невероятным подарком прозвучали в один из таких дней Женинькины слова: «Какая я счастливая. Дождь, музыка, печенье и ты рядом!» Мне мечталось видеть Женечку счастливой, вот такое нам выпало счастье.

Через день к нам ходит врач, звук лифта — это ранний, утренний, вырывающий из короткого забытья после мучительной

бессонной ночи визит терапевта, ее бодрость, прямой взгляд, звенящий голос, ровная доброжелательность. Такое поведение как будто бы уместно. Но наши миры не соприкасаются. Нам так хочется, чтобы она скорее ушла, забрала с собой свою чуждость, непричастность, свою холеную красоту. Она пытается подобрать лекарства, склоняет нас лечь в больницу. Женечка в гневе: «Умирать — дома! Конечно, кто из родственников может такое претерпеть. Разве я этого не заслужила! Ну, три дня горячки, или, как это, агонии. Я не хочу последним в жизни видеть лицо Мульвазеля!» На мои робкие слова о нашей беспомощности Женечка бросает: «Уезжай, оставь меня одну!»

Ведь это было... Я предлагала, дважды предлагала в самые лютые минуты, не зная за что ухватиться: «Давай уйдем, уйдем вместе». Женинька мужественно отклоняла: «Ведь еще есть надежда». (А я, слабая, ничтожная душа. Мне одной не под силу — ползаю, пресмыкаюсь.) Думаю, не только о надежде говорила Женечка. Для Женечки такой уход явился бы отрицанием уже пройденного, постигнутого ею, разрушением построенного внутреннего человека. Женечке важно было сохранить предстояние перед смертью, обретая опыт умирания, вхождения в смерть.

А ведь Женечка не снизошла до того, чтобы облегчить себе муку, принять какое-нибудь успокоительное. Только эти мягкие, вкрадчивые, сердечные капли, которые теперь ассоциируются для меня со смертной тоской. Что это было: мужество, гордость, вызов, отказ? Бесстрашие? Готовность испить всю чашу душевных мук до дна? Не любила Женечка и когда я принимала успокоительные пилюли. Полагала, что нас это может сколько-то отдалить, а я, коря себя, все-таки в своем бессилии их принимала.

Мы разрывались, не понимая, кто мы. Проклятые, изгоняемые из этого мира, с этой земли? «Господи, сколько можно меня мучить!» — и Бог был враждебен, и мир был враждебен. Или мы были избранные, приближаемые этими невыносимыми муками к Богу, к свету? Да, мы как будто знали: скорби, испытания, посылаемые человеку Промыслом Божьим, — верный признак избранности человека Богом. Но не годились тут прописные



истины, было это знание для нас головным, умозрительным, не освобождающим от боли, тоски, растерзанности. Мы отрекались, проклинали... И мы гордились... И не понимали, не понимали... И так редко нисходил на нас свет.

Мы не знали: примериваться ли нам к смерти, искать ли в ней свет, освободиться ли от страха перед ней. Или же вырастить в себе надежду, учиться бесстрашию жить на краю смерти. Женечка: «Я не боюсь смерти, я боюсь страданий. И если выпало умирать, то я буду развиваться там». А на деле, на деле было невозможное: мы балансировали, не умея пристать ни к тому, ни к другому берегу, без почвы под ногами. Где тут было место смирению? Верно, оно должно было изначально быть: принять любую участь с готовностью, радостью, миром. Смирение же как результат неумения найти точку опоры, вынужденное, безнадёжное, — не есть ли оно просто отказ от поиска смысла, отшатывание от неразрешимого? А если попросту: мы не умели умирать.

Моя маленькая, я называю жизнью то состояние, когда ты рядом, когда я обнимаю тебя, целую головку, пальчики. Любимая, Любимая, Любимая, хочу говорить с тобой, любоваться тобой.

Умерла мама, умерла бабушка — об их душевных муках я могу только догадываться, но таких страданий и унижений, что выпали на твою, Женечка моя, долю, я не видела.

Бесконечной мукой видится жизнь. Мукой потери самых родных, самых любимых, оттеняемой или усугубляемой редкими мгновениями зловещей красоты, то возносящими, то устрашающими, как порой устрашают меня видения Женечкиного земного рая в вечернем парке Оранжери. Завораживают и манят, манят и изгоняют.

Умерла мама. Любовь к маме я перенесла (можно ли переносить любовь?) на брата как на самого близкого и любимого мамой человека, любя его и за себя, и за маму. Любовь к Женечке я не могу ни на кого обратить, любовь эта растёт и зреет во мне. И так будет всегда, где бы я ни оказалась.

Женечка стала для меня всем. Люблю только все Женечкино: ее слово, ее духовную статью, ее телесную оболочку, все то,

что увидено ею, что запечатлено ею, рождено ее мыслью, делом, пронизано ее нежностью. Дорожу людьми, которых любила Женечка; теми, в ком Женечка видела достойные почитания качества; тех, кто умел любить Женечку так, как это было нужно ей, а не им самим. И знаю про всех только одно, и только одно мне важно при всех несомненных или сомнительных для меня достоинствах — ни один из них не был и не будет Женечкой. Любить могу только Женечку, но никого, пребывая в разуме, который иногда, пожалуй что, и теряю, не хочу умалить. Каждый для кого-то бесценный и единственный, как для меня Женечка. Нет, возражаю себе, не каждый. Разве ты забыла, есть ведь и сироты. И вовсе я не о себе, мы с Женечкой вместе, мы нераздельны.

«Мы вместе — ты во мне, Женечка», — говорю, молю, со свойственным временщикам земной жизни заблуждением. А пытаюсь избавиться от земных заблуждений, что мне, наверное, недоступно, заклинаю: мы вместе в обнимающей нас вечности, объемлющей все, и даже сейчас моя временная земная юдоль тому не помеха.

Говорят: «Бог — есть любовь». Так ли это? Если не сомневаться в существовании Бога, — а есть и такие, истинно верующие, — то очень трудно понять, какова Его любовь? Наверное, нельзя задаваться этим вопросом, полагая, что ответа нет и быть не может. А с другой стороны, почему, собственно, нельзя? Нас, таких сомневающихся, не Он ли создал? Хочешь, можешь — принимай и понимай всю жизнь, насколько она тебе открыта, как проявление любви Божьей: жизнь, какая она ни есть, это любовь Божья, урок Божий. Или в потемках души подзревай, а если смел, не боясь кары, прямо допускай, что этот самый Бог жестокосерден, и его великое творчество — изощренное изобретение всяческих пыток и казней. Ищу, думаю, вопрошаю, не умею понять ни любовь Божью, ни гнев Божий. И вера моя — это постоянная борьба с неверием, и другой веры я не знаю. И, как умею, буду говорить о своей любви.

Женечка моя пребывает для меня везде, во всем. «Чем незримей вещь, тем больше оснований знать, что она везде». Это Бродский. Женечка любила Бродского. И я хочу, и Женечка хо-

чет, чтобы в этих строках, в моей любви, в крике, плаче о Женечке — на том и на этом свете — он был с нами. Хотя уже знаю, знаю твердо, пусть и узнала совсем недавно, не от кого-то, не из книг, как мне это было обыкновенно свойственно, наверное, от тебя, моя маленькая: они едины, тот и этот свет. И так ли важно (признаюсь, мне совсем неважно) — кто чья тень, кто чей отсвет?

Порадуйся за меня, Женечка. Я изживаю свою слабость, свое неумение быть бескомпромиссной, я учусь у тебя бесстрашию, основной человеческой доблести, которой ты столь щедро, нет, абсолютно, одарена. Пока я учусь только говорить, говорить свое. Может быть, это только начало, и я еще научусь бесстрашию — делать («делать» — это, конечно, не мое и, скорее всего, моим не станет, но я не зарекаюсь) и бесстрашию — быть, неважно где, ведь тот и этот свет едины, ты меня этому научила. Нет, бесконечно важно быть там, где ты. Но для меня путь к тебе лежит через бесстрашие.

Это твой завет, и он для меня свят.

Бесстрашие, конечно, враждебно земному человеческому благополучию, противоречит изначальным, врожденным, телесным потребностям: желанию и готовности к приспособлению, к мимикрии, адаптации (которой я посвящала свои изыскания в бытность научным сотрудником), адаптации как способности к выживанию. Изучали мы и то, как ею обзавестись, как ее приумножить, как скрестить успешную адаптацию с гедонизмом, чтобы не просто выжить любой ценой, исключая риск и бесстрашие, но еще и украсить эту гнусность выживания всяческими наслаждениями. Ну, тут уж кто во что горазд, и формы могут быть не только благопристойны, но к тому же весьма изящны. В своих «Дневниках» Ю. Нагибин пишет:

*У нас идет естественный отбор навыворот: выживают самые бездарные, никчемные, вонючие, неумелые и бездушные, гибнут самые сильные, одаренные, умные, заряженные на свежую и творящую жизнь. Все дело в том, что это не естественный, а искусственный отбор, хотя внешние формы его порой стилизуют.*

Это о нас с тобой, Женечка, и не только о нас. И слова Льва Толстого (из дневников) хочу здесь привести, не могу не привести: «Жизнь сложилась так, что гибнут миллионы молодых, сильных, здоровых детей — гибнет жизнь, а старательно и искусно лечат старых, ненужных, вредных. Главное приучает людей (медицина) — даже народ — больше заботиться о теле, чем о душе».

И каким же бесстыдством мне кажутся теперь эти псевдонаучные занятия адаптацией, само обращение, внимание к качеству, относящемуся лишь к телесной оболочке человека, к ее сохранности, даже если речь идет о «психическом здоровье». Ведь и о нем мы твердили и изучали только во имя сохранения телесной оболочки и земного существования. Я не против земного существования, коль скоро оно нам как урок кем-то задано или послано, пусть оно для меня и померкло и пребываю я в нем только в одном качестве — колодца любви и памяти, — и только в одном времени — прошлом, пытаюсь сотворить из прошлого будущее или разглядеть в нем вечность. Я против выживания любой ценой, против культивирования унижающей или уничтожающей истинную человеческую сущность адаптации. Я за главную человеческую доблесть в земном существовании — бесстрашие.

Вправе ли я провозглашать культ бесстрашия, я, не отдавшая Женечке свою жизнь, не ушедшая вместо нее, не ушедшая вместе с ней? Но ведь только тот и говорит о сокровище с таким пафосом, кто нищий, у кого нет этого сокровища, кто только по крупичкам собирает его. Тот же, кто им наделен, просто живет по иным канонам, как моя маленькая Женинька, как другие известные и неизвестные мне герои и мученики.

Разве дух не может жить вне трагедии? Или жизнь духа и трагедия — неразделимы? Когда-то я тщилаь понимать и, казалось, понимала, и было это единство совершенно очевидным мне. В какой-то мере даже умела называть это словами. Теперь все приходится открывать заново: все прежние мои знания лживы и непригодны. Истинно здесь, на земле, лишь пережитое, услышанное сердцем и написанное кровью.

...Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.

Иосиф Бродский

Первый сон в ночь после постановки Женечке страшного диагноза: три наших восковых лица — мамино, Женечкино, мое. Мама не похожа на себя, но во сне я знаю: это мама. Мама зовет меня к себе. Я отказываюсь, я хочу остаться с Женечкой на земле. Долго этот сон был мне утешением, казался вещим, пророческим: мы остаемся с Женечкой здесь, на земле, вместе.

Помню маму чаще всего грустной, печальной, плачущей у окна на кухне, прячущей свои слезы. Я понимала, отчего мама плачет, а сейчас, думается, может, немного и обо мне (мама, поплачь о Женечке, поплачь о нас, кто же еще о нас поплачет?). Помню мамины слова: «Все как будто хорошо (брат тогда поступил в институт, мы переехали в новую квартиру), а мне грустно». Брат однажды взмолился: «Мама, не вздыхай так, тяжело ведь нам такое слышать». Брат как никто другой мог успокоить, убедить в чем-то маму, хотя и сам часто бывал источником ее тревог: болезненный, непоседливый, одаренный, не слишком усердствующий в школе и в институте.

Мама очень переживала, как у него все сложится в жизни. Я, прилежная, старательная, по-детски тщеславная, посещающая всяческие кружки и наделенная крепким здоровьем, казалась маме более благополучной и не внушала особых тревог за свое будущее.

Безмерно любя маму, я втайне от самой себя могла надеяться, что когда-нибудь дорасту до маминого великодушия, доброты, терпимости, всепонимания. Мы все-таки были с мамой похожи: слабые, нерешительные, прячущиеся от жизни в страдание, но ясности и доброты в маме было больше.

Женечка же как-то вдруг, внезапно, лет в четырнадцать, переросла меня во всем, мною заведомо ценимом, и во всем, что оценить во всей мере в силу своей малости я не в состоянии,

так что я могла только любоваться и преклоняться перед нею, и быть своей дочке дочкой. В моей любви к маме много жалости, сочувствия, а в любви к Женечке — восхищения и поклонения.

Главный наш конфликт с мамой в детстве был из-за рыбьего жира, который меня заставляли пить каждое утро. Он считался в те годы панацеей от всех болезней, а я его на дух не переносила, а выпив, уходила в школу заплаканной и с обидой в сердце. К тому же была я в ту пору весьма тщеславной, старалась во всем быть первой: в учебе, танцевальных, спортивных и музыкальных занятиях, и бедной маме приходилось меня утешать, когда я не дотягивала до первенства. Помню свои слезы из-за капроновых лент, которые мама не сумела ко времени приобрести, и ходила я с обычными — атласными.

Я рассказывала маме про мои дружбы, мои ссоры и примирения. Должно быть, этими своими глупыми страданиями и необязательными, отрывающими меня от мамы отношениями я ее немало мучила, а ей и без того хватало мучений в большой, далеко не мирной, а если попросту — конфликтной семье.

И было время, отнятое, украденное у болеющей уже мамы и у самой себя и проведенное с кем-то другим, пусть и замечательным, но не столь ведь дорогим. Конечно, я не отдавала себе отчета в маминой уязвимости, но страх за нее был главным чувством в моем детстве. Если бы меня кто-нибудь спросил тогда, чего я в жизни больше всего боюсь, я бы, не задумываясь, ответила: «Боюсь, что мама умрет».

Помню наш с мамой внезапно возникший разговор о поэзии. Читала я обычно много, но стихами тогда совершенно пренебрегала. Мама прочитала вслух какое-то (увы, не помню какое) поразившее ее стихотворение и произнесла тихо: «Разве прозой такое выразишь?»

В последние два года у мамы часто болела голова, это было уже проявление смертельной болезни, еще не распознанной — рака почек. Брат, как будто ненароком, унимал мамину душевную муку, а я все целовала ее чистое, правильное, красивое лицо — глаза, лоб, брови, и мама уверяла, что ей становится легче, боль стихает.

Узнав про свою болезнь, мама благодарила Бога, что это случилось с нею, а не с нами. Своей болезнью — как чувствовала мама — она спасала нас с братом от такой участи, не зная, что для меня это было бы счастьем. О той участи, что постигла нас с Женечкой, мама знала не понаслышке: у ее мамы, бабушки Ани, сначала умерла младшая дочь, а теперь вот умирала мама. «Гений ранней смерти» — так об этом у Цветаевой.

Мама легла в больницу на операцию, а мы с братом отдыхали на даче в Звенигороде. Это было для мамы свято — наш летний отдых, свежий воздух, все, что шло на пользу нашему здоровью, оберегало наш покой. Последняя наша встреча была в больнице двенадцатого августа 1962 года. Я, тогда шестнадцатилетняя, сидела у мамы на коленях. Мы плакали. Мама все знала и прощалась, а я, оберегаемая мамой, не знала ни о диагнозе, ни о предстоящей операции и почему-то понимала: больше не увидимся.

Мама умерла на второй день после операции — 23 августа — отказало измученное сердце. То испепеляющее горе было чистым. Да, в нем была вина — моя, наша, но в нем не было примеси недоверия, ненависти. Я искала помощи у людей, я ее находила. И еще — мы с мамой были похожи, я могла отождествлять себя с нею. Я не умела искать маму где-то в вечности, но я умела видеть себя ее ростком, продолжением, себя видеть мамой, а маму — собой, и находить в этом какое-то утешение, нет, не утешение — возможность жить.

Моя нежная печальная мама, прости меня, я освободилась от ненависти к тебе, я снова люблю тебя.

Потеряв Женечку, мама, я обезумела, я и сейчас безумна. Я возненавидела весь мир, я прокляла свою жизнь, чужую жизнь, людей, всех, все. Я и тебя, мама, возненавидела — еще больше, чем остальных, ибо больше других любила, потому что не понимала: почему ты допустила Женечкины муки, почему ты выпустила меня в мир, почему не спасла нас от этого ужаса, хоть и твержу себе, что ты не Господь Бог, что не властна ты над Роком и что «Гений ранней смерти» — это и про Женечку, и про тебя, мама, и про твою прекрасную сестру, любившую и собиравшую камей. И передавшую нам с Женечкой и камей,

и страсть к ним. Женечка, ценя камни, только любовалась ими и не носила как украшение. По своему благородству, которое проявлялось и в большом и в малом, безмолвно уступила эту стезю женского тщеславия мне. Впрочем, Женечка полагала, а я не могла согласиться и не умела понять, что нет большого и малого, нет высшего и низшего, нет продвинувшегося и стоящего в начале пути... Не умея так смотреть, думаю, что таким могут видеть мир как раз высшие, такие как Женечка.

Женечкино благородство, оно и в том, что Женечка в отличие от меня, не простившей своих страданий маме, не возненавидела, не возложила на меня вину за свои муки, а, напротив, с самого начала своего пути на Голгофу с поразительной, невыносимой, деланно грубоватой деликатностью попыталась меня от чувства вины освободить. Нет, не освободила, и нет в мире силы, способной освободить, ибо вина эта неопровержима, пусть даже я просто орудие в руках судьбы. Быть орудием — тоже вина. Твое благородство так безмерно, что ты не заподозришь меня в унижении паче гордости. Я так вижу, моя маленькая, и так говорю.

Мама с Женечкой здесь на земле не встретились, только в моем сне, где мы, нарядно-восковые, нездешние, сидим рядком, будто в окно глядим.

Женечка маму мою, Фрэду, названную так по имени героини Джека Лондона, нежно любила, называя ее просто бабушкой, как и каждый ребенок, ласкаемый, обожаемый, балуемый своей бабушкой. Какого происхождения была Женечкина, обращенная к бабушке любовь? Была ли она почерпнута в моей любви или самостоятельно впадала в поток моих чувств и обогащала своими струями мою любовь к маме... А может быть, иначе: Женечка и мама имели возможность общаться между собой неведомым мне способом, где-то в ангельской обители, не прибегая ни к словам, ни к знакам.

А однажды Женечка, маленькая еще, двенадцати лет, сказала: «Я хочу рано родить детей, чтобы они тебя знали и чтобы ты успела ими налюбоваться». Позже, став взрослой, Женечка радовала меня своим доверием, готовясь возложить на меня вос-



питание своих, уже заранее любимых мною, деток. Нету деток, никого нет.

Я теперь порой слышу или улавливаю непроизнесенные, но готовые сорваться с языка сочувствующих слова: вот если бы у меня были еще дети... Окончание проглатывается, но подразумевается — можно было бы жить. Нет, отметаю сразу. Женечка для меня одна, единственная, любимая так, как любят единственных. И Женечкин вопрос в больнице, а по сути не вопрос, а утверждение человека ведающего: «Я у тебя одна?» — об этом.

Жалею, что тогда не поняла и не ответила так, как отвечаю сейчас. Впрочем, знаю, Женечка меня слышит.

Бабушку Аню, мамину маму, я любила в детстве, в отрочестве и полюбила-пожалела заново теперь. Меня к бабушке приблизила наша общая с ней судьба. Оказались мы с бабушкой товарищами по судьбе, мамами, потерявшими своих детей. Бабушка дружила с Валею Дыриной, у которой умер, повесился в двадцать лет, сын. Помню, как потемнело мамино лицо, когда по телефону нам сообщили о смерти Валиного сына. Страшное это известие застало нас за занятием черчением: мама за меня чертила, чтобы и по черчению у меня пятерка в четверти вышла. Могила Валиных мужа и сына была недалеко от нашей, где были похоронены дедушка, мамина сестра, а теперь и мама и бабушка. Там бабушка с Валею обыкновенно и встречались.

«Счастливые матери», — говорила бабушка с непонятной улыбкой, возвращаясь с кладбища. Потом обязательная Валя позвонила бабушке из больницы попрощаться: у Вали был рак груди. Валю Дырину, преподавательницу литературы в вечерней школе и «счастливую мать», худенькую, гладко причесанную, в темном платье, я помню. И, как и к бабушке, тоже обращаюсь к ней с вопросом, как же можно после такого жить. А так и можно, отвечают они мне — себя не помня.

Когда мама умерла, бабушку я не пожалела, я была полна своей болью, своей утратой. Сейчас горько вспоминать: я любила маму и оберегала любовь к ней, а бабушке мало что доставалось. Постоянная бабушкина забота — уход за могилой, что на Донском кладбище, могилой мужа и двух дочерей. Меня,

при маме, еще маленькую, потом выросшую и маму потерявшую, бабушка часто брала с собой. Я боялась ездить на кладбище, особенно боялась крематория. Мне казалось в детстве, что ничего нет страшнее на свете того, как быть сожженной в этой чудовищной печи... От бабушки, лет в восемь-девять, я впервые услышала о страшной, беспощадной болезни — белокровии. Почему она мне об этой болезни рассказала, почему я запомнила, не забывшая других бабушкиных рассказов — Бог весть. Даже миг потрясения от этого рассказа помню: лето на исходе, наш по-летнему пустой чистопрудный двор, золотые шары в палисаднике у дома, и я, оцепеневшая.

Бабушка приносила из библиотеки свое любимое чтение — семейные саги: «Семья Тибо» Роже Мартена дю Гара, «Сага о Форсайтах» Голсуорси, «Буря» Эренбурга, вслед за бабушкой я тоже их читала. Эти книги бабушка многократно перечитывала. Бабушка любила ходить в библиотеку, хотя и дома было книг предостаточно. Бабушка часто проверяла мои уроки. Под бабушкину диктовку я писала диктанты (нам обеим это нравилось), мы играли в карты — в «дурака» и «девятку», в лото, вышивали крестиком... Бабушка, конечно, умела вышивать и гладью. Одно время вся мебель в доме была покрыта вышитыми бабушкой салфеточками.

Бабушка была хозяйственная, бережливая. Наготовит прекрасных пирожков с абрикосовым вареньем или булочек с корицей или маком, пересчитает и спрячет их: или к себе в большую коричневую сумку (одна только сумка-то и была у бабушки), или на шкаф поставит, подальше от нас с братом, и потом выдает нам порционно. От этого Женечка меня быстро отучила. Заготовила я как-то котлеты впрок и кормлю ими своих домашних — каждому по две котлетки. А маленькая Женечка, лет семи, которой котлетки понравились, возражает: «Если уж человеку есть хочется, ты не считай, мама, накорми досыта». А если на взрослый язык перевести, то получится: «Да будь же щедрой, мама, я хочу, чтобы ты была щедрой!» Такой мне был урок. И совсем это не в укор бабушке, у нее свой опыт — опыт голодных лет и голодных детей, у меня — свой, вот и веди себя соответственно. Щедрой я не стала, лишь пульсирует во мне

щедлость с разной частотой и амплитудой, кто рядом — таков и пульс. Щедрой стала и таковой пребывает, продолжая на все лады одаривать своих любимых, маленькая Женинька.

А бабушкина бережливость от горького ее опыта была, во имя внуков, себе ей никогда ничего в вещественном мире не было нужно, вся одежда перекраивалась, перелицовывалась, перешивалась. Многие годы помню бабушку в черном пальто, серой каракулевой шапочке, коричневых зимних ботинках на рифленой подошве, в последнее время — с палочкой. Меня же тогда, падкую до всяких женских штучек, бабушка баловала. Из крошечной своей пенсии всегда старалась одарить. И все ее подарки — как один Подарок — я помню.

Бабушка шила мне на старой швейной машинке Зингер летние ситцевые платья с пышной юбкой, а к моему приезду из очередного отпуска ездила на рынок, чтобы приготовить мне любимое блюдо: молодую, обжаренную в сухарях, картошку с лисичками. Любуюсь бабушкиной неременной аккуратностью. Все на ней старенькое, но такое настиранное, наглаженное, накрахмаленное: и белый кружевной воротничок на неизменном штапельном бордовом, в белый цветочек, летнем платье. От нее к нам с Женечкой и обращение это ласковое перешло — «маленька». Так бабушка называла меня или Женечку, когда мы хворали.

Безмерно благодарна бабушке за ее стойкость: пережить своих детей, похоронить всех братьев и сестер — и особенно любимого, вынянченного бабушкой младшего брата — и сохранить себя ради внуков — жестоких, не понимающих и не умеющих бабушкино величие ценить. Вернувшись с маминых похорон, испеленная горем, бабушка произнесла единственно нужные тогда мне, забившейся в угол, слова: «Будем жить».

Пожалею теперь, спустя жизнь, бабушку. Прильну к ней, порадуясь за нее: внуки у нее оставались. Пусть и не ценящие ее заботу, пренебрегающие ею, да разве это так важно, когда родные, дочки твоей дети, вот они, с тобой. А главное утешение бабушке — Женечка маленькая на свет пришла.

Пять лет они друг с другом ласкались, нежничали, дружили. Вот уж кто бабушку Аню никогда не обижал, а только любил —

Женечка. Да разве есть другое такое счастье — ребенка маленького к себе прижать.

Бабушка любила и умела рассказывать о своем детстве, о юности, да вот только я не умела слушать. Все думала: успеется, еще наслушаюсь. Осталось в памяти немного: Херсон, большая семья, родители, пятеро братьев и сестер, бабушке досталось нянчить младшего братика. Этот брат умер за несколько дней до Женечкиного рождения. Каждое утро на завтрак семья ест дыни и бублики. Мальчики — их трое, если по старшинству, то это Яша, Леня и Сема — отправляются в реальное училище, а девочки — старшая Роза и младшая Аня, наша бабушка — чинно следуют в гимназию. На второй завтрак каждый из детей получает от отца по две копейки. Эти две копейки были почему-то кульминацией в бабушкином рассказе. Дальше — обрыв, то ли в бабушкиных рассказах, то ли в моих воспоминаниях о них.

Сохранилось во мне еще то, что первая бабушкина любовь — мне рисовался высокий, чернобровый и румяный юноша в военной форме — погиб на фронте Первой Мировой. Я не умела слушать бабушку, зато Женечка умела слушать, и знала все мои секреты и тайны, малые и большие. Наверное, злоупотребляла я этим Женечкиным умением, перегружала мою маленькую.

Незадолго перед смертью бабушка произнесла слова, повторенные Женечкой: «Разве я смерти боюсь! Я боюсь страданий». И, как и Женечка, уничтожила многочисленные свои письма и открытки с горькими словами: «Теперь уже ничего не нужно». Бабушка любила переписываться, в числе писем были и те, что особенно дороги — от братьев и сестер. Мне же бабушка оставила прощальное письмо с просьбой похоронить ее вместе с ее детьми и с заветом: «Женечку берегите». Не уберегли мы Женечку, бабушка, не уберегли.

Одно лишь могу сказать теперь — ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение.

Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая.

А молнии высекаются небом. А небо вечно. И в этом мое утешение.

Чингиз Айтматов

Поначалу Женечка не принимала своих мук так уж всерьез, жалела нас, родителей, приговаривала: «Я-то что, тут валяюсь, а вот вам достается».

Потом страдания и муки все накапливались и стали так безмерны, что жалеть других сил оставалось мало. И все равно, особенно в последние дни, все спрашивала: «Ты устала? Ты не спишь?»

Что я могла дать Жениньке — любовь, ласку? Да, конечно. Я становилась на колени перед ее кроватью и целовала ручки, ножки, головку. Я толковала о Женечкином избранничестве — порой, стесняясь и не желая смущать, косвенно, порой, из глубины отчаяния и любви, прямо, всею собой. Я утверждала, что Женечка самая замечательная, самая благородная, самая умная, самая добрая. Женечке были угодны мои слова, за ними не только любовь, но и уважение, почитание, восхищение, преклонение перед Женечкиными высокими муками. Только против слова «самая» Женечка протестует — оно не для нас. Конечно, не «самая», Женечка моя, потому что ты единственная для меня, единственная в своем благородстве, великодушии, высоте духа.

Однажды вожусь в кухне, неожиданно Женечка просит:

— Мама, скажи что-нибудь!

— Перетерпим, Женечка, выстоим.

— Ты думаешь? — из самого нутра.

Мы знали, понимали: идет смерть. И не то чтобы надеялись, хотя и это тоже, но скорее не допускали, не верили, что такое может быть. И не когда-нибудь, а теперь.

Однажды как-то серьезно, без надрыва, не желая причинить боль, Женечка торопится высказаться: «Если я погибну, мне хотелось бы, чтобы были сделаны какие-то пожертвования или оказана помощь таким, как я, кто мучается, проходит химию».

Жила в нас мысль о бегстве, о бегстве от болезни, от ее клейма, от себя, прокаженных, от людей, которые в одночасье могут забыть о твоей жизни и о твоей смерти, но ни за что не простят тебе твоей непохожести на них, необычности, в чем бы она ни выражалась. Да кто же не знает, что от себя не убежишь... И все равно что-то в нас так неукротимо, так неистово просилось на волю. Поселилось это желание в нас давно, редко прорываясь наружу. Мы хранили его в себе и берегли напоследок. Иногда, впрочем, эта мысль прорывалась. Мы говорили: возьмем только легкие чемоданчики и отправимся куда глаза глядят — радоваться, жить. Отчего мы не уехали? Хотя бы затем, чтобы вырваться из кунсткамеры, затем, чтобы быть исхлестанными встречным ветром, расправить крылья, побежать наперегонки со смертью, и, даже не переиграв ее, увидеть в ней, как в зеркале, свое отражение, родственность смерти и жизни, и освободиться от отчаяния, от страха перед смертью. Возобладал здравый смысл?

В кресле, запрокинув голову, отрешенная, отрекающаяся, окончательно одинокая, насовсем одинокая. О чем ты думаешь, моя маленькая? Я никогда не узнаю. Обнимаю тебя, глажу ножки, волосики. Никогда не узнаю твоего отчаяния, не сумею разделить, утешить. Как я боготворю, Женинька, твое исхудавшее тельце, обожженное личико, бездонные глаза, твои несчастные волосики... Как обнимаю твое отчаяние и не могу обнять, так оно безмерно.

Мой малыш, как недолго мы были вместе. И больше никогда. Нет, не так! Мы вместе, Солнышко, мы всегда вместе, моя родная, любимая, моя Женинька, моя Муся Солнышкина.

Отчего Женечка не желала ни с кем разговаривать и просила меня не говорить о ней и о ее здоровье, точнее о болезни? Да от-

того, что отношение людей к нашей муке — неважно, было ли это сострадание, любопытство, непонимание, хищная радость, равнодушие — сбивало с толку, мешало внутренней сосредоточенности, погруженности в свою глубь. «Да к тому же, — говорила Женечка, — любая жалоба, обращенная к кому бы тому ни было, обязательно вернется к нам же, преумноженная и нагруженная дополнительной безысходностью». Если я пыталась возражать, мол, человек тебя любит, ответ был: «О любви должен судить тот, кому она адресована».

Порой Женечка отталкивала мысль о болезни. Нет, Женечка здорова, а эти неопровержимые муки, они не знак болезни, они какой-то другой природы. Думается, это означало, что Женечка чувствовала сохранным свое глубинное «я», болезнь его не затронула, разве что обогатила.

Только теперь понимаю, и то, наверное, не до конца: Женечка с ее самостоянием, с ее опорой на себя, с целостностью ее природы была больна болью всех страдающих.

«Если ужасное есть (не придумано, а существует), художник обязан увидеть его, святой — вынести... вынести великое страдание — очистить страданием и собрать свою душу» (З. Миркина).

Одиночество, боль, муки — таков был Женечкин путь к святости. Мы бессознательно чувствуем, больше — мы знаем: он страдает, он страдал за всех нас. И не потому ли мы просим прощения у уходящего, у ушедшего? Так поклонимся мы до земли страдающим, воздадим им при жизни, поняв, наконец, что каждый страдает, мучается и умирает за всех нас. Без такого понимания не стать нам людьми, не вырастить свои души, не обрести самих себя в своем земном пути.

Тем временем забрезжила новая надежда — возможность обратиться к альтернативной восточной медицине, пригласив из Индии лекаря, сулившего нам скорое исцеление. Для осуществления этого плана, впрочем, нам необходимо было пройти множество бюрократических барьеров. Казалось мне, была услышана моя мольба: я все ходила и молила неведомо кого, чтобы пришел и спас Женечку — ведь не может этот ужас все длиться и длиться, пусть же этот кто-то придет и спасет. И вне-

запно этот кто-то обрел реальные очертания, и даже срок приезда был оговорен — девятнадцатое ноября. Не сразу Женечка приняла эту возможность. Да и приняла ли? Может быть, просто снизошла к нашим с отцом мукам? А пока мы с моей маленькой знакомимся с основами индуизма, и Женинька была терпелива, а порой и заинтересована — просила перечитать, силилась вникнуть, и я тому радовалась. Но никто, никто не пришел, не спас, а пришел некто и назвал смерть и послал на смерть.

Последнее, что я читала тогда, желая потеснить безысходность столь привычным для себя занятием, были «Осколки зеркала» Марины Тарковской.

Пыталась пересказывать Женечке: про пуговицы, концентрировавшие в себе воспоминания, про отношение А.Тарковского к родным... Нет, это не было Женечке интересно. Неожиданный интерес вызвало зачитанное мною высказывание из пришивинских дневников: «Сколько отмерено человеку в ширину — столько и счастья, сколько в глубину — столько несчастья. Итак: счастье или несчастье — это зависть наша одного человека перед другим. А так нет ничего, счастье и несчастье — это только две меры судьбы: счастье в ширину, несчастье в глубину. Отдать себя жизни, пусть ранит сердце, чем больше ран, тем глубже свет».

Лихорадка не отступает, скачки температуры, приступы озноба, боли. Женечка худеет и слабеет. Третьего ноября нам предстоит сдавать анализ, претерпеть переливание крови. «Я боюсь анализа», — перед выходом, уже в пальто, выкрикивает Женечка. Обнимаю, пытаюсь забрать боль себе: «Не надо ничего бояться, мы ничего не боимся». Двор Женечка пересекает без моей помощи: соседи, хозяйка не должны видеть Женечкину слабость. Дальше идем под руку по улице, ведущей к клинике (в одну сторону) и к Женечкиной работе (в другую). Это время обеденного перерыва. Нам навстречу стремительной деловой походкой движется Женечкин начальник Ханс. Желая избежать с ним встречи, переходим на другую сторону улицы и натываемся на Женечкину подругу Олю. Мы давно с ней не разговаривали, не виделись с четырнадцатого июля, и она явно в замешательстве от встречи, от Женечкиного изможденного



вида, хотя для меня все так же очевидна Женечкина изысканная высокая красота. Опережая Олю, Женечка осведомляется: «Как дела?» И поспешно расходимся: мы — в больницу, Оля — на работу. И почудилась мне тогда суетность и бессмысленность всех без разбору мирских дел. Лишь одно дело показалось мне истинно важным — наше дело, дело умирания. А Женечке все не было ни до чего дела. Женечка была в своем мире.

У Женечки берут анализ, укладывают на переливание крови. Вскоре предварительный анализ готов, он непонятен. Женечка: «Это или конец, или начало». Иду за окончательным результатом анализа в лабораторию, теперь все понятно и страшно. Возвращаемся домой под руку. Чувствую, идем так в последний раз, и не могу сдержать рыданий. Женечка ласково, утешающе пожимает мне руку. Моя маленькая, моя Женечка меня утешает. Как ни посмотрю, все вижу себя плачущей, а Женечку — меня утешающей.

Оглядываясь на земную жизнь, Женечка была сдержанна и бесстрашна и почти не плакала. Понять же отрешенность, оценить земными мерками нам не дано, не нашего это ума дело. Можно только назвать ее. Какую природу имеет это Женечкино бесстрашие, наслоившееся на изначальное, земное?

Хочется допустить, хочется верить: Женечка видела свет, манивший ее, отрывавший от земли. Пройдя через кому, Женечка не была уже вполне земным человеком.

Мы дома. Температура все растет: 39—39,5. Женечка слабеет, жмет сердечко, мы часто пьем капельки. Иногда Женечка просит сама, иногда предлагаю я. В этом какая-то жгучая жалоба, которую Женечка не может высказать. Не было таких слов, да и гордость, прекрасная гордость, мешала. Как вообще Женечка могла вынести эти последние сроки в одиночестве, в полном одиночестве? Ведь я не в счет: что было сохранно, то растворилось в Женечке. Иногда Женечка встает, с удивлением смотрит в зеркало, понемножку плещется в ванной, доходит до кухни. И все больше времени проводит в постели.

Как-то Женечка вспоминает свою учительницу музыки Ольгу Сергеевну — как у нее все было, как она умирала... Я уклонилась от разговора, сославшись на разницу заболеваний. Не

могла его вести, все во мне дрожало. Но у ее учительницы все было именно так: страшный диагноз, лечение, год хорошего самочувствия, надежды, и потом обвал и смерть. Ольга Сергеевна не уходила от людей, ей хотелось говорить, хотелось вслух вспоминать свою жизнь, не пряча темного, не хороня светлого. На поминках одна из подруг Ольги Сергеевны вспоминала, как та называла время умирания самым значительным, самым прекрасным в своей жизни. Ольга Сергеевна входила в смерть под хор человеческих сердец, а Женечка растила себя в одиночестве и уходила одна.

Солнечные блики на позолоченных рамках картинок... Небо, облака, добрые аисты в окне... Картина, толкующая о спасении... Пахнущий свежестью пододеяльник... Последние приметы земной жизни, радости.

Вещественный мир ускользал, в мозаике жизни иногда загорались какие-то кубики: «А перстень с кораллом у нас с собой?» — интересуется Женечка, не проявлявшая раньше к нему особенного интереса. Какими гранями, каким светом заиграл этот камень в измученной Женинькиной голове?

Но груз ответственности за близких не оставлял Женечку до конца. В последнюю домашнюю субботу прихожу из магазина промокшая, озябшая.

Женинька убеждает меня раскупорить коньяк: «Нам рассчитывать не на кого», — говорит трезво и ожесточенно.

До последнего момента я все уповала на Женинькину помощь, подсказку, смекалку. Помнится, надо было прочесть аннотацию к новому лекарству. Я растерянно развожу руками: «У нас же нет франко-русского словаря. Как же быть?» — я, как обычно, жду подсказки от Женечки, забывая на какой-то момент о ее беспомощности, о том, что она прикована к постели. И конечно, Женечка, недоумевая на мою непонятливость и на мою неизбывную готовность искать в ней, Женечке, опору, подсказывает простой выход: всего то и надо было — к франко-английскому словарю добавить англо-русский.

Женечка была тиха и созерцательна, деятельна и решительна, Женечка могла и умела все. Могла зарисовать пленивший пейзаж, мастерски фотографировала, играла на фортепьяно и

гитаре. Могла воодушевить на капитальный ремонт квартиры, принимать в нем участие; освободить дом от хлама, впустив в него воздух; обустроить дом, с редким вкусом населив его мебелью, пледами, коврами, посудой, кухонной утварью; безукоризненно организовать пространство всей ли квартиры, полки ли с книгами или безделушками; безупречно делала уборку; выращивала цветы, с особой придирчивостью относясь к цветочным горшкам; могла разобраться с любым бытовым и электроприбором, с сантехникой. Четко и стремительно собиралась в дорогу в многочисленные командировки; не гнушалась никакой работы.

Вспоминается школьная практика в какой-то из больниц, где Женечка взяла на себя труд нянечки, брезгливо отвергнутый одноклассниками. Где бы ни работала Женечка, всегда относились к своему делу творчески и ответственно.

Женечка думала, говорила и писала только от себя, ничего заемного, никаких общих мест не допускала.

В людях разбиралась безошибочно, в большей мере, однако, в их слабостях, пороках, душевном уродстве. Восхищалась редко, и чаще, пожалуй, умом, искренностью, воодушевлением, великодушием, преданностью.

Людей одержимых, преданных делу, идее, человеку Женечка выделила даже в особую когорту — называя их людьми с «горящими глазами». Со всеми Женечка держалась на равных, смело, с достоинством, но без надменности, по-детски открыто.

Женечка ни к кому из людей не бывала равнодушна: человек либо принимался с уважением и это уважение несомненно ощущал, ибо допускался за заветную черту, либо отвергался с неприязнью, в которой тоже не мог сомневаться.

Умела Женечка резко оборвать отношения и могла быть ласковой, как никто.

В отношениях с людьми царили искренность, прямота, бескомпромиссность, доходящие до резкости, которые представляются поразительными при той сложности характера и гибкости ума, что могли бы допустить или оправдать любые повороты и изгибы поведения. А у Женечки было ровно так: изощренный,

мощный ум и детская, доверчивая, не знающая колебаний честность, полная неспособность к лицемерию и предательству.

Никакого лукавства, жеманства, детских или потом женских уловок, ни в большом, ни в малом.

Женечку не заводили чужие провокационные упреки, она не отвечала глупостью на глупость, так же распаяясь. Ее ответы, если она хотела быть колкой, были как сто игл против укуса комара, но главное — часто переводили разговор в другую плоскость, так что вспыльчивому собеседнику приходилось и в гневе задумываться над своими словами во избежание столь чувствительных ответных залпов. Женичкин гнев, а он случался, не заводил Женечку так далеко, чтобы в ссоре с дорогими людьми не думать о последствиях. Женечка была отходчива, но легкомысленное или жестокое слово из уст близкого человека оставляло в ней тяжелые, страшно долго не заживающие раны.

Тут считаю уместным привести фрагмент письма ко мне Паши:

*Вы помните ту пору, когда Женя, ссутулившись и, подобно Раскольникову, не поднимая головы, бегала по улицам, пела про мальчика, который, всплеснув руками и выронив скрипку, падал в пасть; про жирафа на озере Чад? Мне кажется, в 90-м году эта чарующая кротость только распускала, а в 92-м был расцвет. Я не понимал, как все люди на свете не бросают все к черту и не пускаются за своим крысоловом.*

*Женичкины серо-синие глаза с прожелтью покрывал солипсический туман, в котором сквозил вышагивающий аистом хлыщеватый принц видений. То Женино нежное и мечтательное состояние — оно всегда жило в глубине, в нем суть. К нему надо было апеллировать, уговаривая, о нем вспоминать — раздражаясь. Иногда возникало чувство, что мне удастся войти в это марево, и тогда не было ничего невозможного. Женю можно было в чем угодно убедить, она была открыта любым словам и верила им безмерно и навсегда, потому что ты сливался в этот звенящий миг с принцем видений. Но иногда это высокое небо становилось твоим врагом, потому что на нем все было точно известно, и если твое истолкование отличалось от данного*

*свыше — ты был неправ, и недоверие к твоим словам было непоколебимо.*

*Порой, когда Женя повествовала о ком-нибудь, казалось, что все герои, даже самые нелепые, немного заимствовали Жениного очарования, прибавляли в весе и значительности, ибо эпический жанр, может быть, даже в ущерб пронизательности, был «ге-ниален» (Женечкино словцо). Все люди выплывали преобразенными и облагороженными из чудного, нежного облака Женечкиных образов.*

*Возможно, если что-то и заставляло Женю быть в последние годы с людьми непримиримой, так только «крохоборство» в отношении «регрессивного времени».*

И тогда, когда в доме все было достаточно скудно, и тогда, когда Женечка своим трудом привнесла в него достаток — кусочка не возьмет, чтобы не поделиться. Вспоминаю первую землянику последним летом, сорванную Женечкой на лесной дороге и принесенную домой на общее любование и вкушение.

С каким вниманием, проникновенностью Женечка рассматривает старые фотографии прабабушки и прадедушки, их родственников, как сокровище укладывает их в сундучок. Кажется, эти фотографии, эти люди на фотографиях, наконец, дождались того, кто их согреет, оживит своим теплым, нежным взглядом.

А сколь великодушна и щедра была маленькая! Пусть и немногим это известно, но уж кто отведал этой щедрости, то сполна. Одаривала легко и бескорыстно, настойчиво и беспрестанно, не замечая, что одаривает.

Такой великодушной, защищающей и одаривающей была послана Женечка на землю — словно белый ангел, осеняющий нас в «жизни мышьей беготне».

А вот как Женя сама характеризует себя в 16 лет:

*Позвольте, пожалуйста, в этой фантазии определить слово «родословная» как установление происхождения характерных черт человека.*

*То есть родословная — это набор причин, которые в своей совокупности обусловили появление определенного индивидуума. А какие это причины?*

*Каждое колено передает следующему огромную информацию. Это — генофонд всех предков плюс влияние на них внешнего мира.*

*И очень заманчивым представляется последовательное выявление возможных предков в порядке, начинающемся с меня, и вглубь веков. До бесконечности. Конечно, можно предположить огромное множество различных и даже взаимоисключающих вариантов. Вот один из них, который вполне мог бы быть реальным.*

*В каждом из представителей рода человеческого сосредоточены все до одной человеческие черты. Уровень же их выраженности дает всевозможные сочетания.*

*Как произошла моя, проявляющаяся в некоторых житейских ситуациях лень? По правде говоря, она меня очень раздражает. Так вот, подозреваю, что была у меня по маминной линии прапра...бабушка — милейшее, добрейшее и очень кроткое существо. Жила она среди божественной красоты природы, не обремененная никаким хоть сколько-нибудь неприятным окружением. Все у нее в жизни складывалось необыкновенно хорошо. Но как может тварь, называемая человеком, жить безо всяких проблем и невзгод? Поэтому ей приходилось придумывать себе разные преодолимые преграды. Да, она была очень мечтательна, и за своими фантазиями забывала различные дела, а вспомнив про них — откладывала, а отложив — забывала. И так без конца.*

*Хотя они не были обременительны. И это передалось мне, но, к сожалению, в несколько испорченной форме. Про отложенные дела я никогда не забываю; это очень мучительно.*

*А мое упрямство. Оно невыносимо. И очень трудно преодолимо. А упрямяюсь я, когда раздражена, а раздражение от вспыльчивости. Но вспыльчивость проходит мгновенно, оставляя язву раздражения, и пока та затягивается и заживает, я упрямяюсь. Похоже, что всем эти чувствам сродни дух противоречия. Откуда это взялось!?*

*Возмутительно. Не может быть, чтобы кто-то из моих предков был таким противным. Ведь бывает, что много хороших черт в своей сумме дают какую-нибудь гадость. Так и есть. Все бывает. Похоже, что это соединились все частички благородной уступчивости. Они передавались, накапливались, из Хаоса к Гее и Эросу, через всех и вся и, наконец, после последней стадии, будучи уже слишком утрированными, породили упрямство. Ведь когда кто-то благородный дает, находится тот, кто берет, когда дают много и все время, то брать привыкают, а отвывать трудно. И вот когда чего-то нет, не хватает, возникает упрямство, — из-за привычки.*

*А моя способность быстро разочаровываться с приближением или приобретением ранее любимого и желанного, но далеко-го? Это не без исключений, но все же. Вероятно, сказывается влияние дальних предков; их темперамента, неуголимости и горячности. Похоже, что это от итальянцев, которые жили на Балканском полуострове после распада Франкской империи.*

*Нельзя не сказать о доле пунктуальности и сдержанности, — кажется от германских предков.*

*А еще, нет сомнений, что это родословное древо одной из своих длинных ветвей переплетается с родами Достоевского, Толстого и кое-кого из плеяды поэтов начала века, преданной и покорной слугой которых является самая глубина моей души. А ее поверхность сейчас принадлежит Теофилу Норту.*

*Это моя сегодняшняя родословная. Завтра изменюсь я, и можно будет корректировать ее. А может быть, это Она все время старается сгладить все мои шероховатости и острые углы? Истину все равно не познать.*

Женечка никогда не унижалась, не носила в себе чувства вины, верила в свою звезду, такой верой иногда вызывая у меня замешательство, удивление, и всегда — уважение. Верила в свои силы, когда работала над курсовыми и дипломом в Университете, когда сдавала экзамен TOEFL, когда писала сочинение при конкурсном отборе в группу, направляемую в США.

Верила в себя, когда направляла статью на конкурс социологических работ при поступлении в Агентство международного

развития США в Москве и в Совет Европы. Об этом же Женечкина шутовская записка студенческой поры, оставленная на письменном столе, после ночных бдений:

*Черновой вариант гениальной, первой в истории Жениной академической карьеры, курсовой, закончен. Теперь дело за вами, дорогие Мама и Папа (пожалуйста) и Покровским (на здоровьечко).*

*Авторские знаки препинания прошу сохранять. (И вообще ко всему авторскому относиться с уважением, в том числе к знакам препинания и надписям на полях!) Не должно получиться больше 15 стр. (к сожалению).*

*Bitte, Bitte, Bitte, Bitte bis вторник.*

*Будильник — на 9.00*

Самодостаточность, опора на себя — всего этого в Женечке было с лихвой. А вот была ли любовь к себе — не скажу, думаю, не было. Мы пытались понять, что же это такое — любовь к себе. Любовь ли к миру, жизни, ко всему сущему, включая себя, как одно из его воплощений?

Получалось как будто бы и складно и достойно, но понимать не означает уметь. Я молила Женечку полюбить себя, но Женечка любить себя в полной, оберегающей человека от бед мере не умела. И как все мы, мало умеющие себя любить, Женечка часто сомневалась в любви к себе окружающих. И порой полуутверждала-полуспрашивала: «Меня никто не любит». Мое опровержение и перечисление всех тех, кто любит, истинно любит Женечку, ее не убеждало.

Я не объясняю тебя, Женечка, я знаю, ты этого не любила и не любишь.

Я не тщусь выразить невыразимое, не посягаю на твою тайну. Это слова моего восхищения и поклонения, моей скорби, крика. Я же не выкричалась, все молчала и молчала. Женечка, я не объясняю тебя. Разве можно объяснить музыку, стихотворение, дерево, человека в его глубине?

Давай вместе послушаем музыку, написанную Бродским, твою любимую.



## ШВЕДСКАЯ МУЗЫКА

Когда снег заметает море и скрип сосны  
оставляет в воздухе след глубже, чем санный полоз,  
до какой синевы могут дойти глаза? до какой тишины  
может упасть безучастный голос?

Пропадая без вести из виду, мир вовне  
сводит счеты с лицом, как с заложником мамелюка.  
... так моллюск фосфоресцирует на океанском дне,  
так молчанье в себя вбирает всю скорость звука,  
так довольно спички, чтобы разжечь плиту,  
так стенные часы, сердцебиенью вторя,  
остановившись по эту, продолжают идти по ту  
сторону моря.

...Душе принадлежит вся жизнь, когда смерть прекращает ее, души, одиночное заключение.

Томас Манн

Среда, десятое ноября. Болезнь все свирепей и яростней. Семейный врач в своем бессилии настаивает на больнице, ссылаясь на необходимость внутривенного введения антибиотиков. Мечемся, соглашаемся, отказываемся. Женечка неумолима в отношении больницы. В конце концов договариваемся об однодневной госпитализации. Женечка замучена, истерзана, смятена: «Издватели, все издватели. Вышвырнула меня. Я сама соберусь». И будто про себя: «Неизвестно еще, выйду ли я из этой больницы». Разрешает только одно — надеть ботинки, потому что нагнуться невмочь. За Женечкой приезжают. Носилки, шляпка, перчатки, белое отрешенно-надменное лицо, скорбно сомкнутые губы.

Кушетка в той самой общей зале. Бесконечно родная, крошечная Женечка в синем свитере свернулась в клубочек. Меняем майку за ширмой. Доктор Ашиль, стремительно проходя мимо, властно повелевает Женечке остаться до выходных: необходимо справиться с инфекцией. Одна из медсестер объясняет Женечке, что они могут некоторое время, месяц-полтора, поддерживать Женечку — надо окрепнуть и начинать лечение. Женечка: «Я думала, осталось неделя — две». Жить оставалось 10 дней.

Палата 530. Просто палата — никакого толчка. Расставляю все по Женинькиным указаниям, одну занавеску на окне сдвигаю: дерево, так с кровати видно дерево. Складываю Женечкины вещички в шкаф, расправляю синий свитер. Женинька с необычайной кротостью: «Его уже ничто не спасет. Ты можешь идти, мама, ты уже ничем не можешь мне помочь». Но когда я собираюсь выйти, купить Женечке шоколадку, не отпускает ни на минуту: «Не уходи». Женечка еще ест понемножку, макает

хлеб в супчик. Супчик вкусный, Женечке нравится. Зачерпывает пару раз второе. Предлагает и нам отпробовать. Много не могу себе простить, и это тоже: ночевать идем домой. Ночью звонки ежечасные: «Я же не могу позвать — мамонька. Как я теперь буду спать? Я как утенок» (Женечка сильно потеет).

Одиннадцатое ноября. Четверг. Глыба боли, ожесточение. Полночи Женечка обдумывала, как добыть бумаги, необходимые для приглашения врача-индуса. Диктует, я записываю. Страшная боль в боку, трудно двигаться.

Женечка:

— Мне тяжело. ВСЕ ТАК УМИРАЮТ?

— Нет, Женечка, ты страдаешь. Ты не умираешь, ты будешь жить, — сопротивляюсь я.

Ночью звонок: Женечке хочется пить, не спится.

Варю компот, идем с отцом в больницу. Господи, зачем-то заставляем разговор о необходимости еще и других, дополнительных бумаг для вызова целителя-индуса и этим вызываем взрыв отчаяния: «Я так одинока!

Я никого не люблю!

Меня никто не понимает!

Я хочу в морг!

Я хотела бы не просыпаться!

Боже, отчего ты не перестанешь меня мучить, тебе все мало!»

Как могу, успокаиваю: «Женечка, солнышко, родная, ты только разреши тебя любить, тебе помогать, быть с тобой».

Ночной звонок домой: «Ты уже успокоилась?»

Двенадцатое ноября. Пятница. Женинька как будто тише, спокойнее, безнадежнее. Жмет сердце, пьем капельки, водичку. Прошу у медсестер обезболивающее. От морфина Женечка категорически отказывается, памятуя прошлое бессознательное состояние и последующую слабость. Женечка еще сама принимает решения. Дают какое-то иное дискретное обезболивающее. Ночных звонков домой больше нет.

Тринадцатое ноября. Суббота. Утро. Сердитый звонок домой: «Я тут повернуться не могу, а ты там, наверное, на диване лежишь?»

Делают снимок легких. Женечка предполагает сама решать — следует ли делать пункцию, и если да, то когда. По нашей просьбе начинают вводить непрерывное обезболивающее. Жениньке становится легче, она просит на завтра шоколадных конфет, «таких маленьких, мягких». Долго-долго плещется в ванной — в последний раз.

«Ты, наверное, устала меня дожидаться?»

Четырнадцатое ноября. Воскресенье. «У меня был нервный кризис, я все плакала и кричала ночью. Ко мне привели специального доктора». А меня не было с тобой, моя маленькая. Ты кричала и плакала, а меня не было с тобой. Ни конфет, ни индусов — никаких желаний. Женечка больше не встает.

Подолгу спит. Какая-то черта, рубеж, мне еще не внятные, перейдены. Ночую в больнице. Женечка дышит с трудом. Вызываю ночного медбрата: «Отчего Женечка так дышит?» Он разводит руками.

Пятнадцатое ноября. Понедельник. Женечка безразлично, бессильно:

— Мы сегодня идем домой?

— Нет, еще не сегодня, но скоро. Нам лучше, скоро домой.

Я не кривлю душой, так комментирует ход лечения наша терапевт.

Немного позже Женечка:

— Мне тут химию не делают?

— Нет, солнышко, химию не делают.

Настаиваю на переодевании. Переодеваемся, Женечке трудно, больно: «Какая ты упрямая», — мне. О себе: «Бедная девчоночка, что же с тобой сделали». Когда я предлагаю массаж, Женечка с готовностью соглашается: ласковые прикосновения хоть немного облегчают муку. Как объясняет медсестра, сейчас делать пункцию из плевральной полости опасно.

Этот Женечкин взгляд беспрестанно предо мной: горький, укоризненный, вопрошающий, устремленный на меня, уходящий от моих глаз, родной, отчужденный, собирающий в себя всю боль, весь этот и тот свет, нескончаемый, длящийся во мне. Моя маленькая, моя родная, бесконечно любимая, моя Женинька.

Шестнадцатое ноября. Вторник. Большую часть дня Женечка спит или находится в забытьи. Женечка едва может разговаривать: «Отец ушел?»

«Мама, пожалуйста» (когда я неловко поворачиваю Женечку). «Не буду больше пить». Эти слова оказываются последними, что я слышу. Короткий, безмолвный визит врача Ашиля — он лишь осведомляется, ночуем ли мы у Женечки. Неужели мы все еще не понимаем? Отказываемся понимать? В эту ночь у Женечки ночует отец.

Семнадцатое ноября. Среда. Утро. Женечкино лицо обтянутое, уходящее.

Тереблю медсестер: может быть, снять или заменить обезболивающее? Оно так обессиливает Женечку, и почему перестали давать антибиотики?

Разъяснительная беседа со старшей медсестрой: я должна понимать — Женечка все слышит, но говорить больше не будет. Я же могу сказать, все, что хочу. А что касается антибиотиков, то их сняли, потому что они уже бесполезны. Это — кома.

Визит доктора Ашиля. «Женечка умирает, — звучит на трех языках. — Сегодня или завтра утром». Выдерживает мой взгляд и добавляет: «Вы это знали». Мы пытаемся говорить что-то о реанимации, он отмахивается: какая реанимация.

Да, я знаю теперь, что значит биться головой о стену. Женечка, приговоренная, безмолвная, неподвижная, и я, мечущаяся от окна к двери, бьющаяся о дверь, пытающаяся что-то понять, изменить, пробудить, пробудиться самой, попасть вместе с малышом по другую сторону мира, вывернуть мир наизнанку. Бесполезно, все на своих местах. Бессилие, одно бессилие со мной.

Восемнадцатое ноября. Четверг. Ночью и днем Женечка часто и громко стонет. Мы с отцом по очереди подходим, гладим по головке, целуем, зовем.

Женечка иногда чуть-чуть приоткрывает глазки, изредка отзывается глубоким внутренним звуком.

Девятнадцатое ноября. Пятница. Женечка почти не стонет, пульс истончается, дыхание становится все реже и реже. Мы держим Женечку за ручки, ладошки становятся совсем детски-

ми, целуем, целуем, целуем. Но можно ли нацеловаться? Говорим что-то прощальное.

«Отныне, как обычно после жизни, начинается вечность».

Моя маленькая, мое солнышко, я люблю тебя за твою жизнь, я боготворю тебя, я преклоняюсь перед тобой, я становлюсь на колени перед твоими муками, моя святая.

Когда душа, захлебнувшись от боли, изнемогая, взыскует понимания, кто-то нашептывает ей: «Женечке не терпелось дойти до конца, заглянуть за край, узнать, что будет после смерти. Женечка не умела полюбить эту жизнь, не успела обзавестись привычкой жить, дерзко и стремительно прошла уготованный ей путь». А кто-то другой, отвергает все и говорит: «Нет объяснений, есть только боль, в ней правда».

«Мне жить не нравится, и по этому определенному оттолковению заключаю, что есть в мире еще другое что-то. (Очевидно — бессмертие.)...»

«Этот свет. Как я знаю тот! По снам, по воздуху снов, по разгрожденности, по насущности снов. Как я не знаю этого, как я не люблю этого, как обижена в этом! Тот свет, ты только пойми: свет, освещение, вещи, иначе освещенные, светом твоим, моим» (М. Цветаева).

...Любящие — вне смерти.

Только могилы ветшают, там, под плакучею ивой,  
отягощенные знаньем,

Припоминая ушедших. Сами ж ушедшие живы,  
как молодые побеги старого дерева.

Ветер весенний, сгибая, свивает их в дивный венок,  
никого не сломав.

Там, в мировой сердцевине, там, где ты любишь,  
Нет преходящих мгновений.

Р. М. Рильке

Цветаева, Рильке, Миркина. Как велики великие, как непостижимы. Пить их надо непрерывно. Поднимешь голову от источника, и опять ты непонимающий, беззащитный, маленький. Ты так жаждешь, чтобы тебе все объяснили, взяли за руку, по-

вели. Да нет же, надо расти самой. Женечка, мне есть куда расти. Женечка, я буду расти, тянуться, чтобы быть ближе к тебе. Только тогда мое неверие во встречу растворится: Женечка, мы встретимся.

Мгновениями-молниями чувствую, понимаю, но хочу понять еще крепче, каждой своей клеткой, до конца: Женечка — жива, жива, жива! Моя маленькая, любимая, жива! И прокричать всему свету: «Женечка жива!» И пребудет живой вечно! Мечусь, плачу, верю в бесконечность жизни, не верю ни во что, изничтожаю себя, бросаю в людей ненависть, как комья грязи, прошу прощения, убегаю из сегодняшнего мрака в пылкие или холодные абстракции, радуюсь твоей бесконечной жизни и скоро, совсем скоро, вернусь домой, к тебе, моей маленькой Жениньке.





*Павел Гринберг*

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ,  
ПОСВЯЩЕННЫЕ ЖЕНЕЧКЕ

\* \* \*

Только бессоннице смерти, перистой, как облака,  
не оборвать себя, но расставаться с жизнью  
и нарастать бессмысленной яркостью потолка  
и уставать бессоннице в безадресной укоризне.

Жизни — уткнуться в жизнь носиком чувства и  
греться теплом руки, морем, словами, снегом,  
и распляясь, слушать, колыбельные дни свои,  
и пребывать бессоннице вечным ее ночлегом.

\* \* \*

Голова твоей тени бежит на восток.  
Тень твоей головы у меня в сновиденье  
забывает о том, как мой ангел жесток,  
и всю ночь исцеляет мое оскуденье.

Твоя тень пожирает обмылок ноги,  
я ложусь, чтоб всем телом пропасть в этом рае,  
пока в мире теней не услышишь шаги:  
кто-то вновь Эвридику назад забирает.

Голова твоей тени бежит на восток.  
Ангел, тронув силки, улыбнется — и мимо.  
Обнимая виденье, настигаю исток,  
где мы живы, прекрасны и неразделимы.

Вся фигурка ее была покрыта сеточкой жилок: не только хрупкие прожилки на висках, более беззащитные на левом. Впадина с обратной стороны колена, всегда нежная, как открытая рана, притягивала меня. Нельзя было сомневаться, что в этих прозрачных трубочках пульсирует голубая кровь.

На двух столицах столицах, Януса цитаделях,  
сторожие сторожащего во славу себе гекатомбы,  
лежит затемнение облака, настоящего на асфоделях,  
и Янус хронически путается в собственных катакомбах.

Что же мне делать, милая, цветок без названья алого,  
медуница собственной юности, надлобья зеленая жилка.  
Прорывается тихая музыка и мерная песнь усталая.  
Таеет твой облик призрачный в сжатой ладони снежинкой.

Не наторев на ангелах, смею набраться наглости:  
ангел мой бледный, бледный, огонь свой не скроешь сызнова.  
Ушки твои топорщатся в хрупкой щемящей нагости,  
как у овчарки несытой в стойке у рынка Сытного.

Нет, ты не хмурься, ангел, не ускользай, безумная.  
Мне твоих Чистых прудов зеркало вод соглядатаем.  
И я пишу тебе и напишу «моя»,  
Чтоб перестать кормить Крона едомым когда-то им.

Проникая сквозь шоры и бельма  
по бикфордову шнуру железки  
мчатся огоньки Святого Эльма,  
как набухшие солнцем железки.  
Горячи, — чтоб залиться дождями, темью  
и засыпаться снегом, — полозья —  
увлекали глаза и звенели, рябили  
междоветьями многоголосья.

Дождь косо бил, последнему вверяясь оружье — слезам,  
но тем не менее  
шнур догорал, и не сказав «Сезам»,  
я вплывал в Москву как в свое имение.  
Помню, что после вагонных снов  
Москва казалась их продолжением,  
в путевом дребезжании отодвигался засов  
не усилием, самым движением.

Сколько поездов было между  
нами, как рябило пространство,  
как оно давило на нежность:  
сумрачных лесов протестантство,  
всхрап платформ на долю секунды  
и мазутная мебель поселков,  
в снеговые одетые унты  
фонари и столбы вдоль проселков.

Близорукости в обход, не смотря,  
я выуживал твой силуэт издалека —  
то ли флагманская поступь за моря,  
то ль поспешная готовность двойника

(этак в сутолоке чьих-то сложных поз  
в зеркале свою находим сразу),  
то ли мающийся маятник волос —  
загодя покашливали глазу:

это ты. Что оставалось мне?  
Я следил за тлеющим пареньем  
танца твоего на плотном полотне,  
на экране внутреннего зренья.  
Стрекоча души моей проектор  
Задавал, но пленка склеена кольцом:  
и приходит, и танцует некто  
с серьезным лицом.

## ГОЛЕМ

Загромождая мир, который никто и ничто,  
образуя водовороты, переулки, углы, ступени,  
теребя мою мертвую душу детской и женской мечтой,  
ты живешь, будто платишь мне пожизненную стипендию.

Когда ты не здесь, я забываю слова. И вещи  
сливаются с фоном мира стареющего мужчины,  
который знает суть тождества «бытия» и «ничто» резче,  
чем бастионы страсти или любви фашины.

Но ты шепчешь мне в ухо удивительные слова  
и целуешь мой серый лоб из подножной глины.  
Я просыпаюсь, живу. Неповоротливая голова  
на костенеющей шее высовывается из пелерины.

Ты одеваешь меня, учишь ходить, выговаривать звуки,  
выводишь в набитый лабиринтами путаный мир желаний.  
Я пытаюсь вцепиться в то, за что могут схватиться руки.  
Ты отводишь усталый взгляд, и мир пожирает пламя.

\* \* \*

От раза к разу отвар отравы  
страшнее глазу, ужасней нравы.  
Смелее отмашь и крепче скулы.  
Все меньше помнишь свои посулы.  
Прицельней жало, пугливей сердце  
дрожа прижалось к железной дверце.  
Не разбираешь в кровавой бойне,  
что бьешь, что травишь — азарт разбоя.  
Так, преисполнившись преисподней,  
в зимнюю полночь бегут в исподнем.  
Так зазываешь и завываешь  
о том, что любишь и убиваешь.  
Не зализав друг на друге раны,  
в крови, слезах — вновь на поле брани.  
Так после битвы, испившим мести,  
уже убитым на лобном месте,  
содравши шкуры, сплетясь клыками  
одной натуры — и языками,  
чтоб зализаться до исцеленья:  
ведь жизнь — эрзац этих битв и рвенья.  
И нам вериги слепой разлуки  
лишь для интриги и для заслуги.



Мы маялись по кругу, как мячик обратимы.  
Два города под руку гуляли побратимо.

Но было подозренье, что с нас не станет,  
Замедлив обращенье, продолжить долгий танец.

Когда два тела розны и есть зазор для тренья,  
то рано или поздно замедлится скольжение.

Мы так с тобой бежали необратимых жестов,  
друг друга убеждали, что круг божествен.

Поступок «навсегда» — всегда убийство,  
и учит нас вода, что жизнь — витийство.

Но если он свершен, что нам потеря:  
Молчанья капюшон, глухие двери?

Мы потеряли только не свое и порознь.  
Так думать — мучаться вдвойне и смерти фора.

Твой обезумевший разгон вбирает вещи.  
Теперь за мной поступка звон — чего похлеще?

И городам порвать друг с другом, а то войною  
вести дрожащего супруга в лед паранойи.

Остановись, поговорим: жизнь это слово,  
засядем вновь за словари, а что худого?

Жизнь это круг, вода, возврат и заговоры,  
так проржавеет сеть оград, падут заборы.

А как еще возможно быть и верить,  
и быть водой, и плыть на нерест.

## ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК

Мы встретимся, чтоб выплакать всю боль,  
Что нажили, потворствуя разлуке.  
И, обнявшись под простыней с тобой,  
закорчимся в рыданиях и испуге.  
И долгой жалобой промчится по губам  
Неудержимый вездесущий спазм.

А ослабев, уснем — не расплетаясь тоже,  
увидим сон: не мы, но черный камень лег  
на наше, скомканное страхом, ложе:  
как он непроницаем и далек.  
Он вознесен, как черный обелиск,  
там, где свирепствует кровавый василиск.

## ПОЕЗД

Я садился в поезд и ехал к тебе.  
Или ты садилась на некой станции  
в тот же поезд. В рябой гурьбе  
моей жизни тот путь — мировая константа.

Мы не спали с тобой в этом чреве кита  
на скрипучем ребре убежавшего поезда,  
и в набитом вагоне, где ни зги, ни черта,  
не ветвились из общего пояса.

И расстрельный фонарь миновал, миновал,  
не пресек наших хрипов придушенных,  
и не рушились мы перепугано в гвалт  
твердой почвы вокзала и суши.

И не висли на долгом пути, когда стук  
затекает перерождение  
под потолком как единый дух  
в жидком воздухе обморожения.

Но садились порознь в поезда,  
и число наших ездов — четное.  
Возвращение вымарывало с холста  
дерево, камень, животное.

\* \* \*

Выведи меня из себя и выйди навстречу.  
Истрепи меня, истребя, вечное увечье  
Головы моей без царя, буйная царица,  
Отрави меня, отворя пленные глазницы.

Брошенная местность, горизонты тела,  
вживчивая пресность мысли опустелой.  
Вытопчи гневливо, уничтожь бесследно  
Все мое, что либо зорко, либо слепо.

Не жалеи ни детских слез и откровений,  
ни привычек веских увальня-тюленя.  
Выжженная местность и опустошенье  
выглядят прелестным брачным подношеньем.

Столько же беспечность, сколь и безнадежность.  
Не прожить всю вечность, неприютно ежась.  
Все мы заменимы в чехарде любовей  
до подобной схимы, преданности, боли.

Душ неуязвимость в схватке и сцепленьи  
больше, чем вместимость одинокой лени:  
в мирный одинокий каталог привычек  
ходит смерть — жестокий тиражер отмычек.

\* \* \*

Когда кончается чувство,  
как керосин самолета,  
с аэродрома детства  
ушедшего в холод призм,  
вступает в дело искусство  
детектива и сан-кюлота,  
верблюжье самоедство,  
почтенный каннибализм.

Холодные взрослые игры,  
шифрованный мир торосов,  
божественное, человечье,  
пророк, государственный муж.  
И ходят во мне эти тигры,  
в сердце вонзая занозы,  
чадят над моим увечьем  
равнодушию рваных душ.

Когда кончается чувство,  
мучившее бесплодно,  
приходит тигра и лижет  
пустое место, губя,  
тебе спотыкаться на «пусто»,  
тарашиться на исподы  
мира, на вещи, ближе  
которых не было для тебя.

Вид из окна, зажигалка,  
разводы потертых обоев,  
запруженность мира вещами,  
обжитыми как ничто.

Когда кончается чувство, тебе ничего не жалко,  
тебя не встречает гурьбою  
веселой — с рычаньем, пищаньем  
это пестрое решето.

С сожаленьем, с любовью, со страхом  
(как должно быть Ахилл  
на своих Островах Блаженных  
нянчит свою пята),  
еще ведаю боль в этом, прахом  
становящемся мире торосов и хрупких могил  
чувств и образов обнаженных.  
Ставлю не точку, а запятую.

Ибо, нежный мой друг,  
долгой пыткой болезни  
замученный в дальней земле,  
я все путаю дальность и пытку.  
Пытливо сжимается круг  
вокруг этой, разлукой рожденной, боязни.  
Пока борешься с кем-то во мгле,  
то подмога не будет избытком.

В сущности, Шоша осталась той же — то же  
детское лицо, та же детская фигурка.

Исаак Башевитц Зингер. *Шоша*

Я вижу твоё нежное лицо,  
судьба перебирает варианты,  
безжалостно сжимается кольцо  
и висельник восходит на пуанты.

Глаза мои просроченной поры,  
спасибо хоть за нынешнюю память.  
Теперь бы я не стал держать пари,  
что через десять лет густая камедь

узнает мои прошлые глаза,  
в которых ты безвинно отразила  
всю силу яда, юная гюрза,  
которым мое зренье отравила.

Укусам тем невзгоды и года,  
и желчь моя, и жалостное жало  
бесформенной и путаной любви,  
что не слежалась, но и не стяжала

мне право искусать твоё лицо,  
которое я вижу прошлым взором,  
увиденным теперешней душой,  
и я её гоню взащей с позором.

На веко я накладываю вето,  
предпочитая впечатленья кожи  
о нежности и чуждости твоей,  
о том, что пережито без меня,  
о том, что жизнь поет из нашей ложи,  
а в зале смерть выводит бесенят.

\* \* \*

Мой несчастливый дар — открыть  
объятья пустоте.

Когда б не эта прыть:  
годами плыть в хвосте,

копить беспечный рай  
твоих щедрот.  
Годами собирать  
и отправлять их в рот.

Но вот скрипучий остров  
меняет галс.  
Нерв, обнаженный остов  
услышал глас.

И я почуял небо  
твоих щедрот.  
Отныне вместо хлеба  
глодай мой рот.

Ложись в мою ладонь  
и ешь с руки,  
о, небо золотое,  
о, дно реки.

Но ты быстрее прожила  
меня, чем я,  
и саван мне расшила  
моя швея.



Печаль твоего сада  
не мне дана,  
но горечь листопада —  
моя вина.  
И право садоводства  
отняла ты.  
Взаимное сиротство  
в объятьях пустоты.



*«С Новым годом, краем, светом, кровом!»*

Нельзя ли надеяться, что при определенных обстоятельствах мог бы встретить Вас там и тогда, где и когда это будет Вам удобно...

Горький предгорный город,  
в чьем имени слышится «страсть»  
в смыслах обоих, с преобладаньем страданья.  
Приезжий с востока,  
крестит он иль магендовит живот  
робеет холодной пустыни  
на лицах живучих живущих,  
и верить в их прочное бытие  
в прекрасном аду не решится,  
хоть знает, что это чужой монастырь,  
но шепчет, боясь и любуясь  
паркам, каналам, бульварам:  
«город самоубийц», —  
ибо, как жить здесь, — неясно.  
И надо же, самоубийств  
здесь, видимо, нет как нет.  
Да и немецкая речь здесь по-французски мягка.  
Самое, как ни крути, сердце Единой Европы.  
Но подслеповатое око, обведя горизонт,  
безошибочно узнает  
место, где можно жить,  
где глазу Глас повелел  
лежать и хлопать в пространстве.  
Сад и в нем зоосад,  
тюрьма для муфлона, рыси,  
уток, фламинго, милой лисички Феннек,  
тетеревов и павлинов.  
К бочке подходит страус,  
клювом подцепит каплю

размером с теннисный мячик,  
и ловко ее поймает  
как записной жонглер —  
змеится голова кобры.  
Он смотрит за тем,  
как пара играет в пинг-понг  
через бетонную сетку.  
Но и для страуса сеть — пусть и не из бетона.  
И на свободе только аисты, их небо — повсюду.  
Архитекторы помнят о них, строя башенки, трубы, коньки.  
Дым из трубы идет всегда как-то сбоку, а сверху — гнездо.  
В нем сутулится аист. И трещит погремушка  
грустно и по-человечьи, чтобы мы знали —  
небо наше и их — одно.  
И если аист подходит, трогательно коленчатые  
ноги сего рыбака, вспомнишь уду-телескоп.  
Продолговатый глаз смотрит чуть вбок деликатно  
и скромно мечтателен клюв.  
Нет, он тебя не боится, ты его брат рыбака,  
но если трещотки в небе мягко зовут «пора», —  
то он легко взлетает,  
и, ахнув, ты видишь, как счастье  
за сутулой спиной пианино,  
череду черно-белых клавиш,  
но не успеть сыграть.  
И нам покажется, будто  
мы две половины пароля,  
но вырос меж нас Вавилон,  
когда мы осиротели.  
В этом дивном парке,  
где морщинится, оплывая воском печали,  
шкура на канделябрах вязов,  
тобой оцененных и данных в наследство мне,  
стоит скамейка с видом на павильон.  
И огромные ставни, распахнутые в ту пору,  
когда ты здесь пробегала и музыка вслед неслась,  
догоняя, как облако-озеро-башня,

ныне закрыты, и властвует тишина  
в промежутках меж четвертичным башенным боем,  
на эту скамейку кладу свой глаз,  
и там он лежит поныне,  
вбирая плескания птичьих стай  
в перевернутой чаше над павильоном,  
гадая, как девки на гуще птиц,  
птицегадатель, — когда ж  
в небе их танец, преобразуясь,  
сложит твое лицо;  
ожидая признаний геральдических аистов тихих,  
симметрично застывших в гнездах на трубах крыши,  
о твоих озарениях в парке Оранжерии.

В окнах есть небо и крыши,  
и крыши прекрасней зданий,  
в чешуйках наклонные скаты.  
О черепичных рыбах, огромных и древних,  
тяжелых Левиафанах,  
думает птичий род.  
На крышах антенны и башни.  
За ними — огромные ели,  
деревья, которых не знаю.  
Вывернуты суставы их веток —  
локти-колени назад;  
наши себе такого дерева не позволяют —  
качаешь укоризненно головой.  
Если скользнуть вдоль сада,  
уткнешься сквозь птичье надкрышьё  
в горы, где ты играла  
в рулетку, «моя игрунья»,  
бегала меж виноградных  
лоз, исчезая в тумане,  
истекающим и в облака  
и в русла ущелий с шумом  
взлетающего самолета.  
Где шевелюра травы

лоснится от хлорофилла,  
бьют травяные фонтаны.  
Схватишь за венчик гнома —  
его не понятен язык.  
Косой колоннадой режут  
солнечные лучи  
облако под ногами:  
так подпирает небо  
падающее вещество.  
И ели спускаются вниз  
со склона как пешие птицы,  
где их поджидает туман.  
О да, здесь торжественна жизнь —  
конь на восьми холмах.  
И всадник спит.  
Но бодрствует виноградарь,  
стройностью красоту  
превращая порой в нестерпимость,  
и давая дроздикам петь.

Все это я увидел  
твоими глазами, услышал  
из уст твоих, когда ты  
еще говорила со мной,  
пока еще скрепы жизни  
как-то держали каркасы,  
и сообщались сосуды.  
Я после увидел героев  
твоих поднебесных историй  
и берегу твоих глаз  
во мне отпечаток летучий.  
Но кажется мне, что глаза  
эти во мне колосятся,  
корни пустили, побег —  
на город родной смотрю  
всем чудесным кварталом —  
и тетраскопичен город.

Много бы дал я за правду,  
а не ужимку горя —  
оставить твои глаза  
верным моим орудьем.  
Почему бы тебе не мечтать  
виденьями грез земных,  
взятыми мной в аренду.  
«Куда же и смотреть как не  
на многострадальный этот».  
Раз твоя нежность во мне,  
нету другого дела  
как, оседлав смертельно  
убитого единорога,  
доувидеть твой мир земной  
чтобы устроилась жизнь  
твоя в зазеркалье.  
Ведь грустно тебе зазеркалье,  
не обжитое своими.  
Жертва, смешная теперь,  
но я все отдам за буйство  
чуда во мне с глазами твоими  
ревнивыми, гневными, дикими,  
с костью внутри зрачка.  
Мягкой миндальной косточкой,  
той, что хрустела порой,  
встречая безумную леность  
и чужеродность земли,  
которую не пересилит  
бег по семи морям.  
Господь тебя нынче обнимет  
и защебечет в душу:  
«прости ты меня, прости».  
И содрогнется единой  
утробой Единой Европы,  
сухость их — влагой станет.  
Кровь моя рвется выйти  
из проклятых берегов.



Но я ей пути не открою,  
нету нигде пути.  
Хлопочи о моей пустоте,  
хлопай, глазное око,  
как простыня на ветру,  
выпуклый лист, выгнутый  
голодным пламенем ночи.

Я вижу — ты реешь по склонам,  
и жизнь, словно Черный Лес<sup>1</sup>,  
расступаясь за край обрыва,  
тебе открывает место,  
и ширится в опустошенье  
твоя беговая тропа.  
Я напрягаю спину, выпрямив позвоночник, —  
беги, мой ангел, беги.  
Дорога стелется вверх,  
и ты, наконец, научилась  
колени до подбородка  
на бегу поднимать.  
И тот олененок нежный,  
засмотревшийся на тебя,  
и зайцев пушистые игры  
все это вечно с тобой.  
Не актером на сцене,  
но бегуном по склонам  
райского амфитеатра  
беги, мой ангел, беги.  
Ты научилась думать  
тем, что я мыслил вещью,  
сосною, городом, птицей  
и самым мозгом спинным,  
по которому нас разрезал  
бог — низший бог амфитеатра,  
старый больной лицедей.

---

<sup>1</sup> Шварцвальд.

И передала вещи  
свою укромную грусть.  
Выбранные тобою,  
чем-то неуловимым  
они на тебя похожи  
и тебя берегут.  
Да, ты додумала мысль  
до воплощения в правду,  
я же остался личинкой,  
вмерзшей в прозрачный торос.  
Ты от меня убежала,  
за то, что в безвольном гневе  
я стал походить на вещи,  
враждебные небу фантазий,  
замкнуто ожесточенные вещи-в-себе.  
Прежде, чем ангелом стать,  
в беге ты стала диким  
зверем с расплавленным ядом  
в жилах  
из старофранцузской песни  
о деве, преданной миром,  
белым единорогом.  
Стало мне стыдно жить.  
Нет стыда больше, чем  
память о преданном чуде.  
Низший бог амфитеатра  
шар рассек пополам,  
север назначил раем,  
адам нарек он юг.  
Ад получился чашей.  
Рай изогнулся в купол,  
ты бежишь серпантинном,  
я ныряю в Коцит.  
Ты нас учила не смерти,  
ты нас учила бегу  
единорогом по жизни.  
Труден урок, но мой.

Помню, как смерть рассыпалась  
и рассыхалась земля,  
когда жизнь с рысиной сноровкой  
прыжком настигала  
и сутулила спину твою.  
Жизнь сгущалась в тебе,  
билась в височной жилке,  
в Граале коленной чаши.  
Воздух редел вокруг,  
когда ты серьезно смеялась,  
и этот смех означал  
внезапный укус удивленья,  
и резкий пронзительный хохот  
медленно оседал  
на окружающих пеплом вопросов.  
Они его потихоньку сдували,  
серые мыши, бежавшие из Помпей.  
Истина безоглядна.  
Когда в смехе солирует крик  
удивлением узнаванья, —  
это ее укус, неизвестный пугливым,  
нам, зачарованным небытием.  
Правда, мой ангел: правда —  
это выстрел вперед  
в будущее, которым  
нам не владеть иначе,  
только вспарывать рогом,  
тем застолбив себя.  
Ахаю, чудо увидев,  
но неразгадан рецепт  
спурта, рывка, прорыва  
твоего за себя, за всех.  
Выпростав озаренье,  
словно бедро под халатом,  
ты выпрыгнула в него,  
оставив меня с посмертной  
эрекцией в пустоте.

Как? Напряжением?  
Волей и буйным ростом речи,  
готовностью к битве со всяким  
пустым впечатлением?  
Врожденной зоркостью тела,  
всесекундным фанданго фантазий,  
презрением к ленивой скуке?  
Мелководная рябь вопросов,  
лента ветра над океаном.  
Только бездны друг друга вмещают  
и отражают друг друга в зеркале,  
для тебя — ватерлинии сна,  
засыпаемого по вертикали,  
для меня — всему горизонту.  
Как ты тихо спала, я столько  
раз видел, как ты засыпала,  
как закрывались веки,  
и тек румянец, зарницы,  
ночь безмятежно тебя принимала —  
но что билось под веками,  
пока они хрупко дрожали —  
я не знаю, и что бы услышалось мне,  
если б я заменил тебе сон  
и в моих бы руках ты до утра дозревала?  
Теперь тебе не заснуть,  
как мне не проснуться, я  
слышу твой бег, где последний  
прыжок не привел к приземленью.  
Мы на разных материках,  
и я вижу чреду кинокадров,  
но в руках уже нет тепла,  
под руками неверная память  
или копоть стыда.  
Но увы, и память и горе  
и вина бессловесны. Ничего  
себе не откроешь — и тебя  
не моим словам удержать.

Память слеплена из видений,  
горе — камень сизифов,  
вина — канитель нарциссизма.  
И нет места чуткому уху.  
Атрибуты машины времени —  
человека — тебе знакомы.  
Мой философ и оператор  
перемазан в машинном масле.  
Только ушки твои на страже.  
Трубочист садится на трубы  
и вынашивает яйцо.  
Словно льдинка по водостоку  
оно скатывается в ладони,  
если лодочкой сведены.  
Горе, видимо, род наручников,  
так что ялик всегда у причала.  
Ты поплачешь ли обо мне,  
дашь ли в руку перо твоего  
горячего, в мыле бега, оперенья?  
Встретишь ли ты меня на вокзале,  
когда поезд меня привезет,  
как меж нами заведено?

*12.1999—10. 2000*

\* \* \*

Все быстро стало на места.  
Лицом серьезным и прекрасным  
ты объяснила мне с листа,  
что с жизнью я шучу напрасно.

И с жилкой на виске снаружи,  
где билась внутренняя жизнь,  
мучительно и безоружно,  
губами не шепнув «решись»,

но требуя всем током крови  
самозабвенья и огня,  
в серьезности и отреченьи вровень  
с собой призвала стать меня.

Ты мне не стала объяснять,  
что только безоглядность страсти,  
готовность смертью отвечать  
за близость, все создав напасти —

с ума сойти, погибнуть, стать калекой  
в отличие от подлеца —  
дозволенное человеку  
как выразительность лица.

.....

Нет, моя девочка билась одна,  
Трижды кричал петух и семижды семь.  
Из-за меня ты сбросила латы на  
Грозную землю. Из-за меня наступила темь.

Из-за меня тебя рвал демон смерти. Из-  
за меня длилась агония и демон  
Испытал на тебе всякий каприз,  
Ничего не забыл, все пытки проделал.

Ангелом больше в твоём вертограде, Боже,  
Ты все разложил по нотам, и плод принесла земля.  
И тысячелетье ты можешь закрыть пригоже.  
Век скоро кончился и позже кончусь я.

Никогда не увижу нежной твоей гримаски,  
родниковые сопельки, и курносый носик не шмургнет,  
Не прошествует мимо меня задумчивая антилопа,  
холодную грудь не укрою ладонью, глазки  
ты не откроешь в ответ на мой пристальный взгляд циклопа.

Никто в этом мире не сможет ходить так пылко,  
стремительно сутулясь, уставившись под ноги,  
раскачивая волосами.  
Никто не прильнет ко мне пятками, попой, затылком,  
усыпая в нежное небо под наполненными парусами.

Никто не сумеет так отдаться, предаться, так  
безоглядно рискнуть и повиснуть на Божьих ресницах,  
все чудо мира собрать в кулак,  
и брешь пробить, и выйти из темницы.

\* \* \*

Ты собираешься, тих, защелкиваешь замок,  
старый сатир, садишься на чемодан,  
предчувствуя переселенье.

Раз ты дожил до сих,  
значит пока не смог  
перешагнуть тот мир,  
кожей которого дан  
голод, порыв, вельенье.

Тахикардию стыков меряет стук колес.

Ты был покуда вежлив: городу, миру —  
кесарево, осторожен.

Вещи не тыкал, платил десятину грез  
женскому полу, ежели требовалось, рапиру  
доставал из дурацких ножен.

Пещера Платона — кино нашей жизни, экрана обрывок.

Тени — вокзальное племя — глаза и запертые ворота.

Ужас по жилам приподнимает веки:  
миллиарды без стога застывшие у обрыва,  
призрак великого переселенья народов  
туда, где времени нет вовеки.



\* \* \*

Все сказки. Никто ничего не знает.  
Все слова — бутылки с запекшейся в горле кровью.  
Не канает.  
Крыша? Могильной плиты нет надежней кровли.  
Мы умрем? Так. Но как свою смерть заслужим?  
Пенсион по страданиям, крови, поту,  
отвращению, хуже?  
Смерти — лепта каждого дня. Единственная работа,

за которую время — вперед платит. Как?  
Сужением поля свободы.  
Еще зигзаг  
и тупик. Сзади плещутся воды.

Ты. Эта белая кровь одиночеств.  
Бессловесность есть переход в сверхзвук.  
Ни отечеств, ни отчеств,  
а вскоре ни ног, ни рук.

Все сказки. И я ничего не знал  
и не знаю. Ты ушла недолюблена мной.  
Любви безнал,  
30 сребреников — плата времени мне за заочный вой.

И такая любовь гнусна, да и вой гнусав.  
И я умолкаю, но и другим заткну  
глотку. Уйди Исав,  
нам бы лучше молчать в плену.

\* \* \*

Да, ты сегодня пришла и никто не отменит.  
Из битого смерть стекла и тяжелей каменьев.  
Она открывает дверь и говорит «Изволь».  
Да, я помню теперь, что такое боль.

Да, я помню мечты твоей очертанья подавно.  
Они, словно лики зверей, заколдованные Адамом,  
они, словно струи воды, — о везде, о всегда,  
безумие думать, что ты вверила их годам.

Были они навсегда и навсегда пребудут.  
Времени маета касательна им, прибудна.  
Предательствами людей, крови, телесной жилы  
в чистую воду идей ты их преобразила.

Мечте не заметна смерть. Ты выше обеих ныне.  
Твоей немотой неметь учусь, эти губы остынут.  
Но не забудет Бог то, что ты сберегла,  
как твоя кровь кричала, как ты в огонь легла.

*01. 06. 2000*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Женин день рождения.

\* \* \*

Облако — перистое, кучевое,  
грозовое — на хмурый день,  
легче воздуха, дождевое,  
не отбрасывающее тень, —

в небе растаяло, жизнь,  
словно дождь изошла наружу.  
Горло памяти напряжись,  
чтобы громко окликнуть душу.

Собери эту влагу с волос,  
кожи, книжных листов, экрана  
и с улегшихся под откос  
городов, со стены, с дивана.

И с деревьев, залива, селений,  
вдоль залива оцепеневших,  
собери десятину с сирени,  
певчих дроздииков, страусов пеших.

Собери же все, собери.  
Но не ради жизни, не ради.  
Чтобы длилось внутри?  
Чтоб сбылось в вертограде?

*01.06.2000*

\* \* \*

Днем и ночью, и на грани забвения  
ты мой ангел, ты мой демон и судья.

И твоей любви, твоих волос, твоих  
слов и рук и ног — как не хватает их.

Только это и выхватывает глаз,  
угловатый мир штурмуя, скалолаз.

В чьем-то голосе, бессмысленном, чужом  
вдруг почувствуешь: вот он каков, твой дом.

Это ты шепнула слово невзначай,  
будто в доме нашем приготовив чай.

То, что дома не было и нет —  
ложь. Бессмертица — вот наш с тобой завет.

Дом построен на нетленном берегу.  
Ты уже в нем. Я надежду берегу.

Если вижу я в толпе на миг твой лик —  
словно очи погружаю в сердолик.

Если кто-то невзначай протянет руки,  
это ты противодействуешь разлуке.

Если, старенькая, ты в мой сон приходишь,  
значит, ждешь, и с двери дома глаз не сводишь.

*01. 06. 2001*

Предательство. Это когда обстоятельства заставляют тебя говорить.

Пока ты молчишь — ты один и ведаешь свое дело.

Лучше молчи — каждое слово клятва,

и ты с содроганием их вспомнишь потом.

Потому что мир для животных, а слово для Бога.

А человеку нету покоя. Тянись к человеку животной,  
если не хочешь лгать.

Если животность уходит — беги в нору

и тревожно смотри на дверь, чтоб не вошел человек.

Без слов тебе нечего поверять,

слово же надо проверить сердцем.

Оно молчит, ты можешь прикинуть то так, то эдак.

Случай разлит по миру лишь от того,

что форма души случайна.

Скажешь «люблю» и почувствуешь отвращенье,

потому что ужасное слово взвалил на горб.

Скажешь «верю» и покроешься липким потом,

потому что с ветра и солнца вошел в колумбарий.

И тянет тебя за язык лишь слабость,

лишь желанье всучить лежалый товар,

а в ответ — золотую монету зрелищ страсти, не видя  
человека ни в профиль, ни в фас.

Время дано человеку, а что с ним делать?

Предавать кого-то кому-то. Получать и передавать.

Получил — передал — получил.

Получил — о любви прочирикал — передал.

Вечность слить как Онан на землю.

Потому что вечность, что вече —

голоса толпы, погулявшей на славу,

бестолково уснувшей в гробах.

Сплошь одна безработица жизни.

Ты кому-то чего-то сказал,  
кто-то что-то тебе ответил —  
светский раут в цеху, где машины стоят.  
Это мрачный рассказ головешки  
истекающим соком деревьям.  
Это старость порочная мямлит  
детству, жаждущему любви,  
впечатлений, заботы, ласки,  
материнского молока.  
Это полый колосс с вопросительным знаком внутри  
заборматывает невыносимость  
своего бытия.  
Рядом с ним промчалась комета  
и теперь он «служит» как кантонист  
25 лет и плюс 2 года.  
Как натужно скрипит веревка.  
И без всяких слов тошнота  
подступает к прокуренной глотке.

*18. 08. 2001*

*«Наше дело — дело умирая»  
Заметки об одной книге*





- *Времени два*
- *Первое время — прогрессия. Четко обозначено начало (дан вектор), конец туманен или неизвестен*
- *Смысл жизни — это поиск смысла жизни. Смысл находится, теряется, находится новый*
- *Есть свобода найти и потерять смысл, а также от поиска беспечно отвлечься*
- *Присущи широта воображения и действий. Разброс смыслов, амплитуда*
- *С диагнозом время останавливается. В процессе болезни все действия вне времени*
- *У человека одно желание — чтобы время снова пошло*
- *Когда время останавливается, прекращается поиск смысла, прекращается на фазе «утерян»*
- *Диагноз — гарантия обретения смысла, он заключается в ценности каждого мгновения*
- *Но время больше не идет, остановилось, следовательно, существование бессмысленно*
- *Если оно снова начинает идти, оно уже регрессивное, не с начала, а до конца*
- *Смысл присутствует постоянно — ценность каждого мгновения (вырастает из жалости об утерянном прогрессивном времени)*
- *Присуще крохоборство. Людям недоступна широта воображения и действий, о ней можно только вспоминать*
- *Прогрессивное и регрессивное время подобно летоисчислению после РХ и до РХ*

Это тезисы Евгении Кантонистовой, написанные в начале 1999 года для медицинской конференции, посвященной времени глазами больных и врачей.

Биография автора тезисов: Евгения Кантонистова родилась 1 июня 1972 года, в 1989 году закончила школу № 64 (английскую), поступила в МГУ на социологический факультет, по окончании поступила в аспирантуру. С марта 1994 по февраль 1997 работала в Агентстве международного развития США специалистом проекта неправительственных организаций, куда была отобрана по результатам собеседования. В 1997 году, пройдя многоступенчатый конкурс, она одной из первых российских граждан получает приглашение на работу в Совет Европы по предоставленной России квоте.

С марта 1997 года работает в Страсбурге в Департаменте политических дел специалистом по внешним связям. На сентябрь 1997 в Братиславе был намечен доклад Е. Кантонистойой в качестве эмиссара Совета Европы по вопросам, связанным с событиями в Югославии. По дороге она заезжает в Москву повидать родных, здесь же в районной поликлинике ей был поставлен диагноз — острая лейкемия.

Ее лечили в Страсбурге. Была химиотерапия, связанная с ней кома, выход из комы (второе рождение), ремиссия, выход на работу, рецидив... На момент написания вышеприведенных тезисов для конференции о времени самой Жене времени оставалось меньше года. 19 ноября 1999 года ее не стало. Ей было 27.

Это то, что мы прочтем в предисловии к книге, авторами которой являются Павел Гринберг и Наталья Кантонистова — Женина мама.

Писать *рецензию* на такую книгу — то же, что, скажем, говорить о модели и дизайне лагерного бушлата, — почти что безнравственно. Судить о ней как о книге невозможно и не должно. Да и определить ее нельзя иначе, чем разговор о жизни и смерти. Книга потрясает не только удивительной личностью ее главной героини (а это слово применимо к Жене Кантонистойой без всякой литературной условности), не только удивительной личностью *автора* — ее мамы, сумевшей не только вырастить свою дочь такой, обрести себя в ней, прожить с ней и в ней ее жизнь, но, потеряв, выплеснуть свою безоглядную и бескрайнюю любовь, отчаяние, ненависть, обиду, благодарность, попытку осознания, надежду на встречу на страницы этой предельно честной книги.

Выплеснуть, не расплескав в словах. Емко и ярко настолько, что не разделить и не взять на себя хотя бы миллионную часть ее тяжести и боли невозможно. Но сделать это просто так, на одних эмоциях тоже не удастся. Сама книга — поиск ускользающего смысла, плач осмысления. Чтобы понять, надо возвращаться, перечитывать, вникать, примерять на себя. Ни одной тривиальной фразы. Все выношено. Все направлено на суть. Ни одного общего места. Никаких готовых ответов. Ведь у всякой жизни и смерти нет прецедентов.

Каждая книга, за которой стоит подобный опыт, всегда единственная. (Да и в отличие от десятков, скажем, англоязычных книг, по-русски книг на эту тему действительно единицы...)

«Все так умирают?» — книга, уникальная по жанру, древнему и напроць изъятому из «сегодня». Это жанр плача. В плаче автор занимает заведомо вторичное место, в центре — адресат, присутствующий в тексте, но заведомо *отсутствующий в мире*.

Один биолог объяснял мне, что человеческая память устроена так, что не помнит боли. Мы помним, как было больно, как было плохо, но саму боль удержать в памяти невозможно. Быть может, так работает инстинкт продолжения рода. Ибо мы помним не боль, но о боли. Мы знаем не смерть, но о смерти. В спасительную округлость этого «О» мы уходим и в ней дождаемся — своего ли часа, часа ли своих близких.

Все мы, живые ровесники или современники Жени, *пустившись на дебют*, конечно, не знали и продолжаем не знать, что «так бывает». Не знаем тем незнанием, которым живым не дано знать о смерти. Но к этому святому незнанию примешивается и иное, куда менее невинное. В нашем обществе сама тема ежедневной смерти оказывается маргинальной, она отторгается не только простыми гражданами, но и медиками. Смерть и смертность можно освоить только в меру личного опыта и горя, но не социально. Граница в обществе проходит не там, где пролегает истинное разделение: не между живыми и мертвыми, а между здоровыми и больными. И об этом книга.

Книга о людях, а не о пациентах. О пересмотре ценностей (Женя читает Т. Манна «Иосиф и его братья», проводя многочисленные параллели между пребыванием Иосифа в яме, неизбежным изменением видения мира «оттуда» и своей болезнью).

Книга о чистой «цивильной» одежде здоровых рядом с предсмертными простынями и наготой. О разнице между склоненными у постели и нависающими над постелями. О свободе. О знании vs знаниях.

*Я предлагала дважды: «Давай уйдем, уйдем вместе». Женинька мужественно отклоняла <...> Для Женечки такой уход явился бы отрицанием уже пройденного, постигнутого ею, разрушением построенного внутреннего человека. Женечке важно было сохранить предстояние перед смертью, обретая опыт умирания, вхождения в смерть.*

И далее:

*Мы не знали: примериваться ли нам к смерти, искать ли в ней свет, освободиться ли от страха перед ней. Или же выращивать в себе надежду, учиться бесстрашию жить на краю смерти. Женечка: «Я не боюсь смерти, я боюсь страданий. И если выпало умирать, я буду развиваться там». А на деле, на деле мы балансировали, не умея пристать ни к тому, ни к другому берегу, без почвы под ногами. Где тут было место смирению? Верно, оно должно было изначально быть: принять любую участь с готовностью, радостью, миром. Смирение же как результат неумения найти точку опоры, вынужденное, незна-*

дежное — не есть ли оно просто отказ от поиска смысла, отшатывание от неразрешимого? А если попросту: мы не умели умирать.

На обложке книги — фотография: тонкий овал юного прекрасного лица, полного грации и обаяния, разлет бровей, разрез глаз с картины мастера северного Возрождения, губы сложены в полуулыбку... и текст заглавия — вопрос, сорвавшийся с этих губ за несколько дней до смерти: «Все так умирают?» Умирают — все. Так — единицы, которым дано...

*Женечка в пятнадцать лет рисует свою главную картину «Сирень в хрустальной вазе» — после того как, желая поставить букет сирени, наливает в нее кипяток, и ваза, не выдержав, дает трещину. А Женечке хочется восстановить вазу и сохранить сирень в ее буйном цвете. И Женечке это удается.*

Обрести цельность. Не в этом ли внутренняя форма слова «исцеление»? Не на это ли должно быть направлено любое лечение? Увы, этот вопрос адресуют современной медицине слишком многие...

В жизни, разломленной диагнозом, Женя ведет борьбу за свою цельность. В какой-то момент она выбирает свободу. Она отказывается от уже безнадежного лечения, от больниц, врачей, унижений. Она ощущает свое право умереть собой. И книга фиксирует это с документальной подробностью. Экскурсы в прошлое, в детство, в студенческую юность, отрывки из писем и дневников перемежаются описаниями последних месяцев. День за днем. Страсбург, Дурбах, Париж, Ницца. Вклейки с черно-белыми фотографиями.

Так искусительно подумать: ну, по нашим российским меркам, им еще повезло — были близкие, были деньги на лечение и перед уходом было на что смотреть. Горы, лесные тропинки, вид из окна квартиры и даже больница: больница та и больница наша — даром, что одно слово.

Все-таки последними были не палата на двенадцать человек, тараканы, трещины на потолке, пружинная кровать, превратившаяся в орудие пыток, тщетные просьбы о нормальном обезболивающем... Все так. И при этом до чего же никчемна и бессмысленна эта мысль о «везении»! На фотографиях — любимый вид на замковый холм в Дурбахе: безмятежный пейзаж, холм, виноградники, красные черепичные крыши домов. «За пейзаж, способный обойтись без меня?» Так? Или ровно наоборот?

Каждая главка начинается с эпиграфа.

Эпиграфы выбраны из любимых Женей авторов и книг, из того, что она цитировала в письмах, дневниках: Торнтон Уайлдер, Монтень, Рильке, Аксель Сандамусе, Бродский, Цветаева...

Где-то к середине книги начинает нарастать недоумение и даже раздражение: как смеет литература протягивать свои руки к ТАКОМУ, когда это не экзистенциальные мыслительные поиски, а уникальная уходящая жизнь! Видится в этом и какая-то невероятная ложь, подмена. Не может быть, не верю, что великие настолько велики.

Да, *строчки с кровью убивают*. Так любимые Женей Цветаева, Рильке да и Бродский уже расплатились — в том смысле, что перешагнули эту черту. Цветаева — не дождавшись; Рильке — сгорев от той же самой болезни, лейкемии; Бродский — от разрыва сердца, оставив маленькую дочь. Но и это до конца не убеждает.

Даже самый страстный читатель, не мыслящий себя вне книг, в ключевые моменты жизни не может не усомниться, не отпасть от литературы; он склонен наплевать на пресловутое разделение автора и его личности и не готов взглянуться пристальнее в человеческий образ пишущего.

Есть ли место литературе на грани жизни и смерти? Зачем этим двум мудрым женщинам, матери и дочери, зачем им *цитаты* в их любви у самого края? Само присутствие чужого, вторжение не прямой речи, любая литературность, казалось бы, должна быть отвергнута с порога. С савонароловой страстью хочется наброситься и отмести литературу...

В конце описан последний день жизни Жени. Какая уж там литература... Подробно, документально, глубоко. А дальше почти исчезает авторская речь — только «*стихов заукойный лом*»: Рильке, Цветаева, Миркина, цитаты из дневников Нагибина. В приложении стихи Павла Гринберга (соавтора книги и Жениного друга), посвященные ей при жизни и после ее смерти.

И когда, наконец, с комком в горле проглатываешь этот комок цитат, приходит новое дыхание... Женя смогла свершить большее, чем любой из прочитанных ею авторов, — она воплотила себя в самой своей жизни, а не на бумаге. Но авторы книги продолжают поиск, вдыхая неповторимое в уже написанное, процеживая каждое слово через прожитый ими опыт.

Так любовь, которая есть и пребудет, входит в каждое слово, в каждую цитату. Факт же написания такой книги, помимо всего остального, становится еще и оправданием литературы *sub specie aeternitatis*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> При свете вечности (*лат.*).

И вдруг ошеломляюще по-новому в голове прозвучат слова Бродского из Нобелевской лекции: «Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит в том, чтоб прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь...»

Независимо от того... Что это, как не окончательное равенство написавшего и читающего, акт со-творчества на грани бытия и на пороге жизни вечной? Если литература нужна в ТАКОМ, значит, слова действительно имеют смысл, значит это больше, чем литература, а тем самым — существование литер оправдано уже тем, что в них 27-летней талантливой, прекрасной и бесстрашной девочке суждено было найти свое посмертное воплощение для тех, кто ее не знал.

Мы боимся читать эту книгу? Да.

Но она нам необходима. Не только потому, что нам всем, не имевшим счастья знать Женю лично, нужна Женя. Но и потому, что Жене нужны мы. Феномен этой книги сродни «письмам счастья», которыми мы баловались в детстве, но только тут все уже всерьез. За эту книгу заплачено жизнью. *Прочти и передай дальше.*

Каждый новый читатель проживает эту запечатленную жизнь заново в себе и тем самым длит ее посмертное присутствие здесь и сейчас.

Екатерина Марголис

## Приложение

### Из писем читателей

*Спасибо Вам за то, что ввели меня (нас всех, читателей) в мир этой необыкновенной любви. Я не знала, что ещё бывает такое. Спасибо. Если бывает, значит, в жизни есть смысл.*

*Не хочется писать Вам о боли, которую испытываешь, читая. Да и что моя боль по сравнению с Вашей?*

*Спасибо Вам за Женечку. За то, что она есть (не была, а ЕСТЬ, но не мне Вам об этом говорить), есть — благодаря Богу и Вам.*

*У меня есть список книг, я называю его «библиотека мужества». Книги о настоящем мужестве. Книга о Женечке — среди них.*

*Я очень часто читаю вашу книгу. Я и сама не могу сформулировать почему. Наверное, сила любви и бессмертия, в ней сосредоточены. Поэтому я обращаюсь к вашей книге, когда мне тяжело — за любовью, за мужеством, за мудростью, за красотой.*

*Вы, Павел, и Наталья Семеновна, своей любовью проложили дорогу к Жене. Теперь она и в наших сердцах.*

*Вы изменили мир. В нем стало больше тепла. Спасибо!*

*<...> есть люди, которые, словно яркий свет любви и понимания, проникают в нашу жизнь... их намерения и идеалы так высоки, что мы неизбежно заражаемся ими, но не как болезнью, а как открытием, которые только что совершили, — в себе, в мире, а главное, в том, кто принес нам эту «весть»! Такие люди становятся осью, вокруг которой вращаются миры других людей, потому что последние ощущают нечто необъяснимое, но невероятно истинное... правдивое!*

*Женечка показала мне уникальным воплощением единства противоположностей: она утонченная, но очень сильная, непосредственная и мудрая, возвышенная и прозорливая... можно говорить о ней до бесконечности и столько же сожалеть о ее раннем уходе!*

*В первые дни и недели лютого горя после потери сына, ваша книга о Жене и Женечкины любимые стихи просто спасли меня.*

*Я потрясена силой книги Натальи Семеновны Кантонистовой о ее дочери. Я проплакала на протяжении всей книги.*

*Боже мой, как жалко эту красивую и талантливую девочку!  
Как страшно то, что случилось с ней. И как мужественно она боролась до конца.*

*Она дала мне силы пересмотреть мою собственную болезнь.*

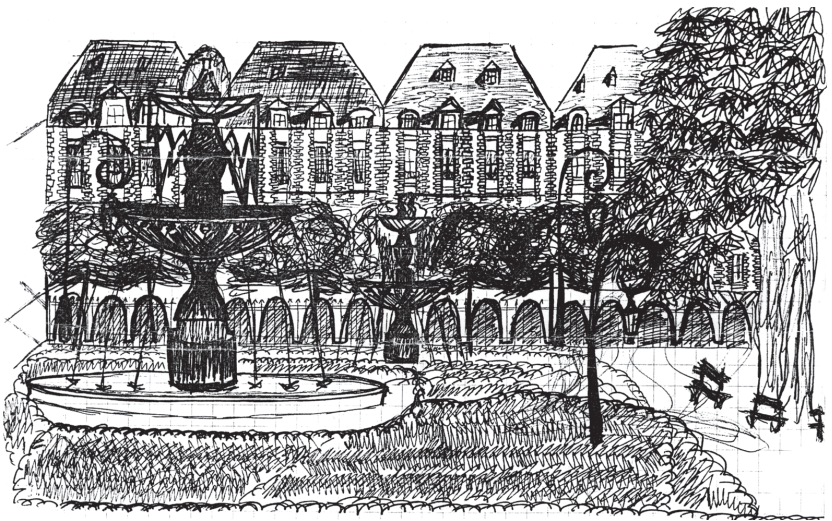
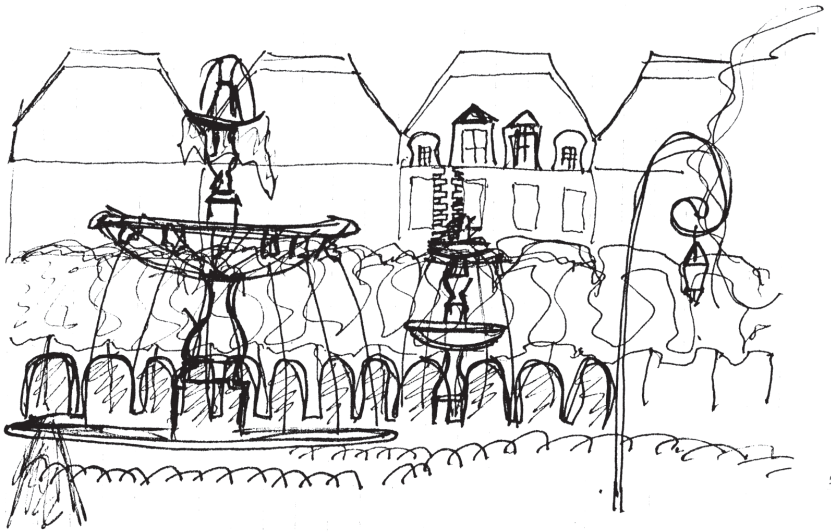
*Она святая.*

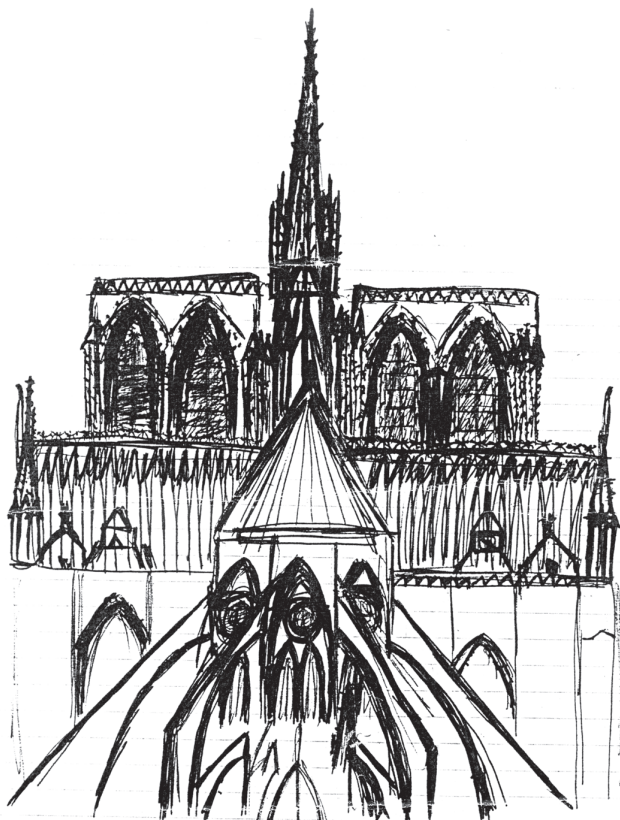


*Женечкины рисунки разных лет*











cm

*Наталья Семеновна Кантонистова*

## Все так умирают?

Корректор Е. Сметанникова  
Оригинал-макет подготовлен О. Ланцовой  
Художественное оформление переплета И. Богатыревой

Подписано в печать 09.09.2013. Формат 60×90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Times.  
Усл. печ. л. 16. Тираж 800. Заказ №

Издательство «Языки славянской культуры».  
№ госрегистрации 1027701010435.  
Phone: **8-495-959-52-60**. E-mail: [Lrc.phouse@gmail.com](mailto:Lrc.phouse@gmail.com)  
Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

**Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».**  
**117342, Москва, ул. Бултерова, 17Б, офис 313.**  
**Тел.: (499) 793-57-01, e-mail: [gnosis@pochta.ru](mailto:gnosis@pochta.ru)**  
**Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).**

